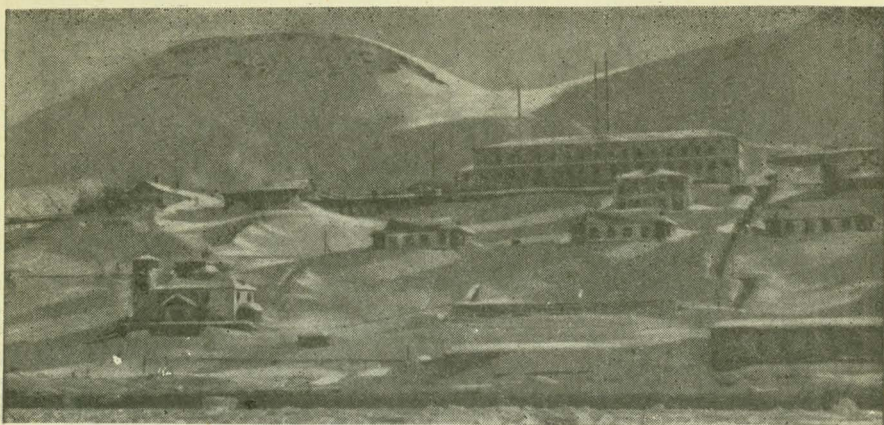


0-38
339162



ОГНИ
КУЗБАССА №4-1973



«Где еще можно увидеть проходчика со всей его амуницией: самоспасателем, светильником и т. д., идущего на работу на лыжах?

В Баренцбурге новое угольное поле тянется под горой Улаф вдоль залива. Некоторые выработки бьют с поверхности, а ходу до них несколько километров. Когда в полярную ночь завалит дорогу снегом, добраться до места работы проще всего на лыжах. И вот тянется цепочка огней шахтерских «коногонок» к далекому шурфу (по одному в полярку ходить не разрешается).

Летом эта дальняя дорога имеет и свои преимущества: между делом можно набрать грибов, полюбоваться на оленей. А однажды к проходчикам повадилась попрошайничать пара песцов...».

В 1970—1972 гг. кузбасский журналист Э. Савицкий редактировал выходящую на Шпицбергене газету «Полярная кочегарка». Сейчас он работает заместителем редактора междуреченской газеты «Знамя шахтера». О нелегкой жизни горняков, метеорологов, людей многих других профессий и специальностей на далеком заполярном острове рассказывает очерк Э. Савицкого «Поморы звали его Грумантом», публикуемый в этом номере.

ОГНИ КУЗБАССА

Год издания 25-й

№ 4 (41)

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН

В н о м е р е :



390331

Проблема?.. Да, проблема!

П. ВОРОШИЛОВ. Зрелость 3

Стихи, проза

ЕВГЕНИЙ БУРАВЛЕВ. О моих земляках-кузнечанах: Хлебороб. Настя. Модельщик. «Какой бы мерою ни мерить...». *Стихи*. 16

В. МАЗАЕВ. Черемуховые холода. *Рассказ*. 19

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ. Братские могилы. «Я дождик и снег в две горсти...». «С разбитыми локтями и коленками...». «Спокон веку, потирая шрамы...». *Стихи*. 28

КОНСТАНТИН АНДРЕЕВ. Авария. *Рассказ*. 29

НИКОЛАЙ ПИСКАЕВ. Почтальон. Деревенский. *Стихи*. 51

РУДОЛЬФ ЛИХОМАНОВ. Светлая роща. Весенняя рапсодия. Кукушка. . 52

Страницы истории

МИХАИЛ СОРОКИН. Путешествие в легенду 58

Из дальних странствий

Э. САВИЦКИЙ. Поморы звали его Грумантом 65

Кемеровское
книжное
издательство

Редактор
В. М. МАЗАЕВ

**Редакционная
коллегия:**

А. Ф. Абрамович,
Е. С. Буравлев,
А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов,
Н. Н. Зеленин,
В. В. Махалов,
О. П. Павловский
(отв. секретарь)

Адрес редакции: 650099,
Кемерово, Советский пр., 94.
Тел. 6-85-14.

Рукописи объемом до одного
печатного листа не возвраща-
ются.

На обложке гравюра «Зима»
Г. Кравцова

0 0732—46
 M145(03)—73 —34—73

© Кемеровское книжное изда-
тельство, 1973

Прошел... Увидел... Рассказал...

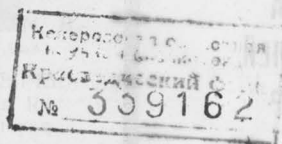
М. КУШНИКОВА. Рыжехвост 83
МАВРИКИЙ РЕЗНИК. Пари 85

Слово — критике

АЛЕКСЕЙ АБРАМОВИЧ. Дорога к са-
мому себе. 87

Литературная учеба

А. ВОЛОШИН. Законы жанра 95
Содержание альманаха «Огни Кузбасса»
за 1973 год 99



Ведущий редактор **Л. В. Глебова**
Художественный редактор **Г. И. Кравцов**
Технический редактор **Г. В. Адова**
Корректор **Т. Е. Трусова**

Сдано в набор 13.IX.1973 г. Подписано к печати
30.XI.1973 г. Формат 70×90/16. Бумага типо-
графская № 1. Усл. печ. л. 7,31. Уч.-изд. л. 8,46.
Тираж 5000. ОП00128. Цена 33 коп. Заказ 8320.

Кемеровское книжное издательство
Кемерово, Ноградская, 5
Полиграфкомбинат
Кемерово, Ноградская, 5

ЗРЕЛОСТЬ

ПРОБЛЕМА?



ДА, ПРОБЛЕМА

В два лома, короткими, в полную силу рывками мы все-таки проворачиваем налитый свинцовой тяжестью барабан комбайна. Сырая солома, свившаяся в тугие и толстые, словно канаты, жгуты, рассыпается вялыми прядями, падает вниз.

— Вот и ладно, однако, получилось. Теперь он у нас снова ходко побежит, — на тужно переводя дыхание, говорит Хазов.

— Тяжело?

— Так ведь в страду оно всегда одинаково. Вздумаешь этого вот конягу в августе и до снегов на казачьем положении: ешь и спишь в седле. Сыроват, конечно, валок. Сейчас бы солнышка, хоть на денек. Только кто же нам скажет, когда разведется? Давай-ка лучше глянем, как машина молотит. А то, неровен час, вернется председатель — греха не оберешься.

— Строг?

— Я не к тому. Не заведено у нас в колхозе, чтобы хлебом сорить.

Взьерошенная, не успевшая осесть и слежаться куча соломы чуть парит. Покалывает руки жесткая полова. Близко к земле набираем ее полные горсти, осторожно сдуваем. На ладонях — ни зернышка, чисто.

— Видал? Нам, если ждать да гадать, все потеряешь. Кончатся дожди, и придут в наши степи ветры. Тогда — ни в копешке, ни в бункере. Пусто будет. Ветер, он быстро управится, обмолотит.

Удивительно располагает к доверию вместе сделанная работа. Встретил меня Хазов недоброжелательно. В поле — не дома, тут случайному гостю разве заведомый лодырь обрадуется. А подергали рядом в два лома, одинаково перепачкались липким машинным маслом, разговорился, подобрел.

— Пробежусь, однако, до конца полосы. Не погнули ли мы с тобой чего тут. Комбайн — машина тонкая, на такую прокрутку, какую мы ему устроили, он не шибко рассчитан. А тебя о чем попрошу... Пройдись следом, присмотри. Крикни, если что не так будет.

Комбайн Хазов ведет на первой скорости. Со стороны смотреть, кажется, медленно ведет. А пешком угнаться все равно трудно. Вязкая холодная земля податливо проваливается под ногами, липнет к сапогам пудовыми глыбами. Наконец комбайн останавливается.

— Сколько намерял? — свесившись с мостика, кричит Хазов.

— Не считал, — виновато отвечаю я, вытирая мокрый лоб.

— Вот и полили полосу городским потом, — смеется Хазов и молодежато прыгивает на стерню. — Я к чему спросил. Версты мы, однако, не пробежали, а бункер полнехонек. Прикинь-ка, грамотный человек, как у нас, к примеру, с гектара обойдется?

В уме делаю несложный подсчет. Тут же еще раз перепроверяю себя. Вроде, правильно перемножил. И все-таки получившуюся итоговую цифру — без малого 30 центнеров — называю с опаской. Кубанский урожай! И в такой год...

У Хазова свой метод определения урожайности. Он, не торопясь, выбивает из валка чем-то приглянувшийся ему ершистый колосок, тщательно растирает его на ладони, потом по одному считает веские и одинаковые, хоть ружье заряжай, зерна.

— Угадал, однако, — одобрительно говорит Хазов. — Добрая удалась пшеничка. Как не прибрать. На Волге, сказывают, плохо уродило. Засуха. Люди там, значит, на нас надежду имеют. Да и себя грех обидеть. Как в нашем крестьянском деле не прикидывать, а хлеб — всему голова. Тут, на полосе, все наши колхозные достатки растут. Осенний день короток, а зиму кормит.

— Ну, и как кормит?

Хазов задумался... Вопросы задавать легче, чем отвечать на них. Очень не просто бывает рассказать даже о том, о чем не раз и не два с крестьянской обстоятельностью беседовал с собственной неподатливой совестью: о чем уже говорено-переговорено с не улыбочивой женой, у которой — и слепому видно — своих, бабьих хлопот с утра до ночи; о чем яростно, до матерщины ругательски ругался с соседом, отстаивая по себе отмерянную правду и веру. Жизнь, такая для всех одинаковая, каждому все-таки в своем обличье является. Да и мерки на жизнь у людей не топором рубленные. Один, встав из-за стола, хозяйку за приветливость благодарит, другой — за жирный кусок, оказавшийся в его тарелке. Один смотрит вокруг себя глазами хозяина и работника, другой же, на манер новорожденного ягненка, только и умеет мордой в чужие коленки тыкаться.

— Ты вот что приметь, — заговорил Хазов. — Дома люди стали новые для себя строить. Хорошие дома. Значит, держится народ за деревню. Но в новом доме и жить

хочется по-новому. Поначалу думаешь о том, на какие такие средства телевизор купить. А когда телевизор этот самый на тумбочке стоит, а у тебя на сберкнижке неизменная тысячка рублей прописана, тогда хочется, чтобы было у тебя время тот телевизор включить и посмотреть, что в мире делается. Бывало, бредешь по улице по колено в грязи и радуешься, что хорошими сапогами обзавелся, непромокаемыми. Но однажды вдруг приходит желание прогуляться в модных штиблетах аж до колхозного правления по гладкому и чистому, как в городе, асфальту. Такая заковыка получается. Чем больше у меня есть, тем больше мне надо.

— Ну, с таким-то урожаем колхозу и на асфальт хватит, и на что подороже останется.

— Урожай еще собрать надо. Его не на поле, а в амбаре считают. — Хазов легко привстал, прислушался. — Однако помощничек мой катит. Из городских, бедовый парень. Проскочил-таки Гиблый ложок. Сейчас в момент ссыплем мы бункер, и этот ухарь прямиком тебя в деревню доставит.

— Спасибо. Что председателю передать?

— Скажи, что в самый аккурат подошла пшеничка. Пусть другие комбайны с утра сюда занаряжают. Разгуляться есть где.

Одной просторной улицей Каменка далеко протянулась вдоль разбежистого степного тракта. Дома — просторные рубленые пятистенники и основательные кирпичные особняки — стоят привольно, оправлены в решетчатые рамки штакетных оградок, затенены молодой зеленью садов. На другой стороне речонки, утонувшей в глубоком овраге, местами подпругенной земляными плотинами, рассыпается по некрутому увалу новый поселок, посреди которого с размахистым прицелом на много лет вперед обозначился будущий центр села с клубом, магазином, административными зданиями. Левее поселка, на подветренной стороне, — животноводческий городок: длинными шпалерами, один к одному, протянулись коров-

ники и кормоцеха. А вокруг поля, начинающиеся сразу от деревенской околицы.

Осень, выдавшаяся в тот год из всех плохих самой никудышной, здесь в открытой, незащищенной лесами степи проявилась со всей своей губительной силой. Ураганные ветры, словно тяжелыми катками, придавили к земле горох и ячмень. Плотной, спутанной постелью полегла пшеница. Необычно рано и жестко ударившие первые заморозки выбелили кукурузу. Надо торопиться с уборкой, а погода по рукам и ногам вяжет. Хмурые, густо тронутые чернотой осенние тучи словно насовсем заблудились в Кузнецкой котловине и бродят неприкаянные, переполненные холодным, никчемным дождем.

Затянувшееся ненастье смешало все привычные сроки, заставило на ходу перекраивать график скоротечной сибирской страды. В селах на поля вышли, как говорится, и стар, и млад. Механизаторы буквально дежурили у каждой полосы, выгадывая погожий час. Подоспела помощь от шефов: горрод дал автомашины, коллективы предприятий полностью взяли на себя уборку овоощей и картофеля, отладили сушилки. Но при всем этом жатва явно запаздывала. Обстановка сложилась напряженная, тревожная. Руководители некоторых хозяйств, как лучший выход, предлагали часть хлеба оставить в валках под снег, обмолотить его весной. При этом варианте, доказывали они, потеря будет меньше, а перезимовавшее зерно потом пойдет, как и планировалось, на фураж. Однако были против этого и серьезные возражения. В колхоз имени Ленина я потому и поехал, чтобы посоветоваться с его председателем Григорием Матвеевичем Федирко, высказать его суждения о проблеме, вызвавшей столь противоречивые мнения.

Но разговора такого, каким он мне представлялся, не получилось.

У Федирко удивительная манера слушать: он — весь заинтересованное чуткое внимание, мягкая ненавязчивая предупредительность. Не прервет на полуслове, не

переспросит. Но, когда говорит сам, сдержанность и мягкость у него исчезают начисто. В словах, в выражении лица появляются твердость, жесткая решительность уверенного в себе человека.

— Для того, кто одним годом живет или свою директорскую должность, как некий трамплин для очередного скачка рассматривает, осенние и весенние центнеры, конечно, одинаково весят. Возьмет он этот хлеб в апреле? Думаю, легко возьмет. И с фуражом не прогадает. Будет чем до первой травы в теле скотину держать. А земля? Опять без ухода останется. Без забот, значит, сей по весновспашке. Нет, нам такая дорога заказана. Мы только на ноги поднялись и опять носом в грязь. Да скажи я нашим колхозникам, что надумал пшеницу под снег пустить, они же меня на следующем общем собрании не в председатели, в конюхи не выберут. Скажут, что пережил свой ум. И правы будут.

— Так-то так. Но тучи словам не внемлют. Их приказом не разгонишь.

— А чего их, тучи-то гонять? Препустое занятие. Поди слышал, как соседи наши, алтайские комбайнеры, наловчились полеглые хлеба убирать? Сделали стеблеподъемники и работают, не жалуются. В этом суть. Одних беда только мучит, а других уму-разуму учит. Надо дело делать, а не причины находить, почему это дело не делается. Объяснениями, даже самыми убедительными, ни себя, ни людей не накормишь. Мы в колхоз прикупили новые комбайны серии «Сибиряк». Машины настоящие, с крепким сибирским характером. А вот техники наши и в них залезли. Клавиши соломотряса длиннее делают, чтобы в любую погоду зерно в бункер шло, а не на стерню в полове. И пускай себе лезут, лишь бы польза была. Нынешний год всем миром клянут. Но у него тоже есть свои плюсы. Какие? Отвечу. Урожай-то мы вырастили. И хороший урожай. А ведь случись такое лето годков эдак с пятью тому назад, косить бы нам тогда вместо пшеницы бурьян — от дороги до леса. Тучи мы пока разгонять не

научились. Это ты прав. Однако кто нам заказал с умом приспосабливаться к погоде?

Последним своим вопросом Федирко деликатно оставлял тоненькую ниточку для продолжения разговора. Но обсуждать, собственно, было нечего. Сам Федирко был уверен в том, что колхоз управится с жатвой, и поэтому никакие другие варианты уборки его не интересовали. Оставалось передать Федирко просьбу Хазова и с тем откланяться. Не расположен Григорий Матвеевич к суесловию.

Эта наша встреча с Федирко была, по моему счету, пятая. А что я знаю о нем? О хозяйстве, которым он руководит, что-то знаю. Крепкое хозяйство. Общий годовой его доход уже перевалил за два миллиона рублей и продолжает расти. Толково специализировано производство. В севооборотах зерновые, прежде всего, ячмень и пшеница занимают 70 процентов. Выбор их не случайный. Маловато в колхозе народу. Да и степь, прокаленная суховеями, овощи родит плоховато. В животноводстве тоже свой строгий отбор. На травянистых суходолах жируют отары неприхотливых к кормам овец. Держат несколько гуртов высокопродуктивных коров черно-пестрой молочной породы. Но главная слава и забота колхоза — свиноводческие фермы. Шесть тысяч упитанных, ухоженных чистопородных свиней дают постоянный и верный доход. Чистая прибыль до 990 тысяч рублей в год!

Знаю я, что Каменка, даже по нашим сибирским меркам, — село без длинной родословной. Здесь и поныне еще живут тамбовские и украинские деды, которые помнят, как в пору их молодости всем миром ставили они на пустом месте первые полтавские мазанки в один ряд с российскими приземистыми избами, как, надрывая себя и слабосильных лошадей, ломали бородами степную целину.

А что знаю я о самом Григории Матвеевиче? Работал заместителем директора совхоза «Заря». Потом здесь же секретарем

парткома. Последние восемнадцать лет — председатель колхоза имени Ленина, Герой Социалистического Труда. Награжден многими орденами и медалями. Умный, расчетливый хлебороб и хозяин. В общем-то, говоря откровенно, сухие анкетные данные.

И вот что странно. Григория Матвеевича не упрекнешь в том, что он сторонится людей. Его председательский кабинет, его гостеприимный дом всегда широко открыты для всего человеческого. Идут к нему, как я заметил, не за резолюциями, а за советом. Он требователен к подчиненным, но спрашивает с них не больше, чем спросил бы с себя. Он не оттолкнет человека, ищущего участия, близости, не обидит недоверием откровенность. Но сам в то же время не любит ходить с душой нараспашку. Таятся, глубоко в себе прячет что-то, настолько личное, интимное, что никто другой не поймет? Не похоже. В деревне говорят, что все местные новости еще до свету петухи во всеуслышанье пересказывают. А председатель в колхозе у всех на виду живет. К тому же в нормальных человеческих отношениях неукоснительно действует закон обратной связи. Доверием отвечают на доверие. И это, надо думать, вполне естественно. Если в председательском кресле сидит напротив тебя нечто, похожее на наглухо захлопнутый сейф, тебе тоже волея-неволей приходится застегивать все пуговицы на пиджаке. Я хорошо представлял, что есть у Федирко к людям своя тропка, не потайная, не путаная, с обычным встречным движением. Но выйти на нее никак не мог. Бывает, запутаешь в лесу, кружишь и кружишь все на одном месте, а речка, которую ты ищешь, течет себе рядом, буквально в нескольких шагах. Есть положения, инструкции, четко регламентирующие права и обязанности председателя колхоза. Хорошие положения и инструкции, одинаково обязательные для каждого председателя. Но одинаковых или хотя бы похожих председателей мне пока не довелось встретить.

Можно было, конечно, напрямую рас-

спросить обо всем самого Федирко. Но что бы он ответил? Все ли свои поступки, линию поведения в том или другом случае мы предварительно осмысливаем, сверяем по определенным образцам? Многое делается в жизни как бы само собой, проявляется как свойство характера, как импровизация на знакомую тему.

— Хазов просил передать, что подошла пшеница на его делянке. Он считает, что уже можно работать групповым способом.

— Значит, допекло мужика, — выслушав меня, заключил Федирко. — В такую погоду одному в степи не работа, а тоска. Особенно ночью.

В выводе, сделанном Федирко, для меня прозвучала несколько неожиданная нотка. Групповой способ уборки появился не вчера. Преимущества его тоже были общеизвестны. Виделись эти преимущества обычно в том, что лучше, производительнее использовалась в горячую страдную пору вся техника. К механизированным отрядам прикрепляли ремонтную летучку, сварочный агрегат. Таким образом, любую поломку комбайна можно было устранить на месте и не гнать агрегат за десяток верст к мастерским. Легче было маневрировать автотранспортом, занятым на вывозке зерна от уборочных агрегатов. Улучшились бытовые условия работающих в поле: тут тебе и культстан, и походная кухня, и кинопередвижка, и короткий концерт летучей агитбригады.

Но Федирко заставил меня глянуть на групповой метод с другой, непривычной стороны. Тяжело сейчас одному в степи... Тяжело даже не в том смысле, что одному не повернуть забытый соломой барабан комбайна. А потому, что просто очень сейчас одному одиноко в степи. Особенно ночью. Не работа, а тоска, как сказал Федирко.

В 43-м военном году нас, молодых солдат, учили не бояться танков. Выглядело это так. В открытый в полный рост индивидуальный окоп, надежно армированный железобетоном, садили солдата и ставили

перед ним задачу: лежа на дне окопа, пропустить над собой танк, потом быстро подняться и бросить ему вслед набитую песком тяжелую гранату. Если граната падала на решетку машинного отделения, — отлично, под гусеницу — хорошо, просто звякала о броню — удовлетворительно. Всего и делов — встать да бросить. Промашнуться, казалось, было практически невозможно. Наш ротный старшина из сверхсрочников, показывая упражнение, раз за разом, как по заказу, укладывал гранаты только в самые «убойные» места. Но у нас ничего не получалось. Ребята грамотные, добровольно ушедшие в армию из технологических институтов, мы с математической точностью вычислили несокрушимую прочность учебного окопа и были полностью уверены в собственной безопасности. Но, когда с неповторимым лязгом и грохотом тяжелая машина проносилась над головой, мы какие-то лишние доли секунды сидели в своей щели, прижав уши, и гранаты наши, брошенные с опозданием, вяло шлепались в густой шлейф поднятой танком пыли.

Трусил? Да, конечно. И самым, заметьте, позорнейшим образом, так что стыдно было глядеть друг другу в глаза.

Спустя месяц, на бригадных учениях, максимально приближенных к боевой обстановке, наша рота оказалась на пути шедшего на прорыв танкового батальона «противника». Занимали мы траншею, борта которой были наспех укреплены лишь плетенками из ивняка. Но слитую, поддержанную минометным обстрелом лавину машин рота встретила и проводила таким плотным градом гранат, что заслужила благодарность командира бригады.

Азарт боя? Наверное. Но не только. В том железобетонном окопе каждый из нас был наедине с самим собой. В осыпающейся под танковыми траками траншее была вся рота. Поднялся один, и тут же встали все. И не было страха. Была какая-то злая расчетливость, помогавшая молодому солдату, едва выбравшемуся из-под груди

обвалившегося песка, мгновенно оценить обстановку и положить гранату в самое убойное место. Положить точно, прицельно, хотя в общей сумятице никто этого ни увидеть не мог, ни отметить.

Пропустив над собой танки, рота лихо бросилась в штыки на сопровождающий их десант...

Потом, уже после официального разбора учений, наш всезнающий старшина, хитро поглядывая на вчерашних студентов, разом преобразившихся в «бравых ребятушек», мудро рассудил:

— Скопом, конечно, и батка сподручить быть.

...Понятно, что вдвоем легче провернуть забитый соломой барабан комбайна. В группе мастерство одного становится как бы общим мастерством, общим опытом. И от этого в выигрыше все. Но Федирко имел в виду нечто другое. «В такую погоду одному в степи не работа, а тоска»... А ведь это на самом деле так. Кажется, что дождь, зарядивший с обеда, будет лить и лить до утра, что сырой хлеб ни косить, ни обмолачивать нельзя, что мокнешь и мерзнешь ты в степи совершенно напрасно, что другие давно уже уехали в село, едят сейчас жареную картошку с парной свежениной. И неудержимо тянет домой, к теплу, к участливому слову человека, готового подбодрить тебя, понять, как тебе сейчас трудно. На миру, говорят, и смерть красна. Работа тоже. Встал один и рядом встает другой, заряжаясь его решимостью, собранностью. Слабому легче идти рядом с сильным, ленивый берет пример с работающего.

Прямая зависимость между производительностью труда и хорошим настроением человека не поддается прямому учету. Но мы твердо знаем, что бывает так, когда даже незнакомое дело вроде само собой делается. А бывает, и привычная работа из рук валится.

Психологические аспекты человеческой деятельности сегодня привлекают все более пристальное внимание. В науке управления

производством социология занимает все более достойное место. Это не дань моде. Это целенаправленный, многоплановый поиск закономерностей, которые четко определяют связь между состоянием моральной атмосферы в трудовом коллективе и результатами его работы. Создать психологический климат, максимально благоприятствующий творчеству, повышающий отдачу каждого работника, безусловно столь же важно, как важна наладка технологического процесса. Надо ли говорить, что это не просто, что социологическая целина во многих местах еще только ждет своих пахарей и сеятелей? Может быть, Федирко один из них? Что скрывается за случайно оброненной фразой о человеке, которому одиноко, мутрно в ночной степи? Минутное проявление душевной теплоты? Или нечто большее: определенная система взглядов, его тропка к взаимопониманию с людьми, вот уже много лет подряд признающими его право руководить большим хозяйством?

Все это еще предстояло выяснить. Все это еще могло не подтвердиться. Но мне казалось, что кончилось бессмысленное блуждание по кругу, что теперь, не зная того достоверно, я все-таки уже догадывался, с какой стороны течет знакомая речка, предполагал, что она рядом.

Федирко собирался глянуть на поля, вспаханные в ту осень безотвальным, новым для колхоза, способом. Я вызвался его сопровождать.

По дороге разговор завязался вокруг проблемы обмена передовым опытом. Разговор довольно обобщенный, без конкретных примеров, но, тем не менее, достаточно острый. В мысли, высказанной в дипломатической форме недоумения, чуткий собеседник всегда уловит вопрос-упрек, обращенный к нему лично. Ну, почему так получается? Два хозяйства живут и работают, можно сказать, на одной земле, в одинаковых условиях — и климатических, и производственных, а результаты разные. Предположим, одному повезло в том смы-

сле, что агроном попался головастый, умица. И по части семян новых урожайных сортов он вперед шагнул, и способы обработки почвы нашел более перспективные. Но кто мешает соседу все это применять у себя? Бери и пользуйся уже готовым. При этом никаких тебе патентных рогаток, никаких добавочных расходов общественных средств и личного мозгового фосфора. Та же безотвальная пахота в колхозе имени Мичурина прижилась давно. Получены отличные результаты. Тамошний председатель Баклыков их под замком не держит. Почему же другие руководители хозяйств лишь присматриваются и прицениваются к этому методу? Федирко слушал меня внимательно. Однако в спор не ввязывался, отшучивался или в тон мне недоумевал. Даже последний, прямо поставленный вопрос, оставил без ответа. Ответ, оказывается, ждал меня впереди.

...Широкое поле прямо от дороги уходило в степь и где-то далеко, на самом ее краю, упиралось в серое небо. Поле было похоже на старый, с заметными проплешинами ковер, давно отслуживший свой срок и теперь за ненадобностью выброшенный. Мокрая стерня на взрыхленной земле пьяно топорщилась в разные стороны. Впечатление неухоженности усиливалось там и сям наваленными кучами старого, словно тронутого ржавчиной, перегноя, острым запахом прели.

— Ну, каково? — с усмешкой спросил Федирко.

— М-да... — неопределенно промычал я в ответ.

— То-то и оно. У полей, обработанных плоскорезами, я и сам не раз в собственном затылке чесал. Такую пахоту совсем недавно мы считали не работой, а халтурой и ничего за нее трактористу не оплачивали. Любой, самый очевидный опыт приживется не раньше, чем в него поверят люди. А происходит это не сразу. Прежде, чем уверовать в новую веру, человеку нужно время отказаться от того, во что он верил раньше. Если ты работал без инте-

ресу, без понимания, что и зачем ты делаешь, то зароешь этот самый хитромудрый опыт по самую маковку, и ничего на том поле не взойдет, не вырастет.

«Без настроения, без понимания»... Еще шаг на знакомую тропку? И какой умный, психологически точно рассчитанный шаг...

Испокон века сибирские просторы диктовали местному крестьянину все одну и довольно примитивную агротехнику. Суть ее определялась тем, что проще было припахать несколько гектаров целины, чем всю зиму возить и возить на поля навоз, мудрить с севооборотами. Вьелось это и в плоть, и в кровь. В колхозах тоже умели припахивать. Были при этом не в убытке. И лен, и просо, и яровая пшеница давали по пласту отменные урожаи. Да только сколько же можно? Как ни широка, ни просторна матушка Сибирь, а земля и здесь сосчитана. Колхоз имени Ленина еще несколько лет тому назад пустил под плуг последние неудобьи и пустыри на приферменных участках. Ставка теперь осталась одна: повышение плодородия полей.

Нельзя сказать, что принципиально изменившаяся обстановка захватила хозяйство врасплох. Случилось это не вдруг. Все видели, знали, к чему дело клонится, и соответствующим образом готовились. Однако полный и сложный курс агротехнических наук местным хлеборобам пришлось пробежать в ускоренном темпе, начиная чуть ли не с азов. Далось это нелегко. Ведь и на этот раз пришлось перепаживать целину, в камень захрясую целину стародавних привычек и навыков. От дедов повелось, что эту степь на обе лопатки надо плугом переворачивать. А тут нашлись умники заезжие, считают, можно со степью в дурачка сыграть, какими-то плоскорезами по ней поелозить. Надо еще посмотреть, что у самих этих умников получится. Степь, сна своенравная. Отсеялся и поглядывая на небо: перепадут в июне дожди — готовь под урожай запасные закрома, потянут суховеи — радуйся, если вернет земля брошенные по весне семена.

— На этом поле, — сказал мне Федирко, — вся наша наука рядом с передовой практикой. Для нас что главное — влагу в земле накопить, сохранить ее до времени про запас. И смотри, что тут получается. Осенние дожди отсюда не скатятся: рыхлые гребни действуют, как плотины. Зимой стерня снег удержит. Опять к тем запасам заметная добавка. Весной стерня активно препятствует излишнему испарению и вместе с тем, словно насос, тянет влагу из глубинных слоев. Вот и вся премудрость.

— Чего же тянули?

— Народ сомневался.

— Обычный консерватизм? Как бы чего не вышло?

— Не без этого, конечно. Земля — такая лаборатория, в которой всякий опыт закладывается не на день, а, как минимум, на год. Тут не хочешь, да поосторожничаешь. За ошибку-то приходится расплачиваться хлебом. К тому же в расчет надо и то взять, что колхоз наш не бедовал. Брели на круг далеко за двадцать центнеров зерновых. Начали поэтому с малого. Потом дело быстрей двинулось.

— Когда потом?

— Когда трактористы потребовали на свой лад переделать плоскорезы. Когда на правлении колхоза единодушно проголосовали за то, чтобы купить новые сеялки для посева по стерне. Когда на партийном собрании меня же и упрекнули в том, что я долго топчусь вокруг очевидно выгодного. Много было их, этих «когда». Все не упомянешь...

Но все «когда» мне и не требовались. Отвечая на вопросы, Федирко опять вышел на свою тропу. Опытный хлебороб, отдавший долгие годы своему беспокойному крестьянскому труду, безошибочно определяет урочный час начала жатвы. Посмотрит на золотистый разлив пшеницы, помнет в руках уса́тый, затвердевший на солнце колос и скажет: «Самое время». Но такое же «самое время» есть и в человеческих взаимоотношениях. Одно и то же предложение люди могут встретить в штывы — и тогда

заранее ставь на нем крест, или с добрым расположением — и тогда успех обеспечен. Так или иначе, для руководителя всегда важно верно определить момент психологической подготовленности коллектива. Это не значит, что он должен сидеть и ждать, когда в сложившейся ситуации все прояснится и само собой образуется. Общественное мнение не просто складывается, оно формируется. И слово главы колхоза в этом сложном социальном процессе может сыграть роль мощного катализатора. Но не председателю пахать степь. Значит, безусловно важно, чтобы безотвальной обработкой «заболел» тракторист, чтобы он тоже считал себя человеком, ответственным за внедрение нового метода, чтобы он предложил на свой лад переделать плоскорезы.

Как-то разговорились мы с Федирко об одном общем для нас знакомом, к судьбе которого оба мы относились далеко не безразлично. Сошлись на том, что человек наш знакомый кристально честный, инициативный, очень работающий, в сельском хозяйстве не новичок. А вот председательскую лямку не потянул. Почему? Тогда Федирко рассудил так: не нашел с народом общего языка. Я не стал уточнять, что он при этом имел в виду. И без разъяснений, как мне показалось, все было понятно. Но вспомнились те, давно сказанные слова и открылся в них новый для меня смысл: надо, обязательно надо нынешнему руководителю хозяйства знать, чувствовать психологическую атмосферу в коллективе столь же достоверно, как знает этот руководитель сводку погоды, как чувствует он, что наступает пора жатвы.

И еще многое вспомнилось, теперь как бы в новом освещении...

Мы возвращались из Краснинского совхоза. Решили спрямить, с наезженного тракта свернули на малоприметный проселок и скоро уперлись в разлившийся в просторной луговине пруд. Время было близко к полудню. Палило солнце. С востока из степи плотно наступал сухой, жаркий ветер. На холодом берегу пруда

лениво дремало стадо черно-пестрых коров. В кошаре, устроенной в тени развесистых берез, теснились овцы. Неподдалеку, у самого среза подмытой водой плотины, сидел одинокий рыболов с целым ворохом разбросанных всею разнокалиберных удочек.

— Шевелит?

Рыболов нехотя оторвался от молчаливого созерцания неподвижных поплавков, но ответил доброжелательно, многословно:

— Ведь как вам сказать, чтобы напрасно не обнадежить? Мало-мало все ж шевелит. А вот вчера так и совсем ладно брал. Да вы, если с удочками, то присаживайтесь. Места хватит. А тронется солнышко к закату, карась себя беспрерывно объявит.

Мы нерешительно замялись. В последние годы в области появилось немало искусственных водоемов. Подпереть ручей или речонку земляной плотинкой — дело нехитрое. Директора совхозов, городских предприятий щедро засыпали в пруды молодь карпа, амурского карася, судака. И тут же на высоком, приметном месте вкапывали столб с доской-объявлением: «Лов рыбы строго запрещен. Штраф 50 рублей». Для чего это делалось, понять было трудно. Хорошая в основе своей идея превращалась в какую-то досадную, обидную несуразность. Ходи около того «заповедного» пруда и даже купаться в нем не посмей. Зачем же было огород городить? В той, неподпруженной речонке местные мальцы хоть гольянов и пескарей ловили удочками: все утеша. Теперь и их гонят с привычных мест, как злостных браконьеров. Глупость одна, а не радость. Только и надежды, что разнесут вешние воды эту плотинку, все станет как было.

— А нас отсюда не турнут? — опасливо спросил наш шофер.

— Это с какой стати? — удивился рыболов.

— Пруд-то, надо думать, колхозный?

— Как водится. Вода — для скотины. Плоховато в степи с водой. А рыба, она — для людей, значит.

Крупный пенопластовый поплавок на правой крайней удочке чуть привстал над водой, тут же лег на бок и ходко побежал в сторону. Рыболов легко поднялся, плавной подсечкой мастерски прервал эту пробежку и осторожно вывел серебристого лобанчика.

— Амурский?

— Он самый. Устраивайтесь рядом. Я тут прикорм бросаю.

Ну что ты поделаешь с неизбывной рыбацкой страстью! Достали из багажника машины еще с весны припасенные удочки, забросили без особой надежды на успех. И пошло... Караси клевали не часто, но надежно, без сходов. Задолго дотемна рыбы в садках оказалось столько, что пора было заканчивать затянувшееся удовольствие.

Наш сосед-рыболов тоже не терял времени даром. Перед обратной дорогой сели перекусить, выложив на одну газету немудреные походные припасы. Разговорились. На берегу всегда есть что сказать друг другу. Да и общее застолье располагало к откровенности.

Рыболов рассказал о себе. Работал в шахте. Однажды поторопился, наступил на худую доску и сорвался в углеспускную печь. В больнице выходили. Но профессию пришлось искать другую: в его годы рано в пенсионерах сидеть. В доме ребятишек трое. До ума доводить надо. Решил в деревню ехать. Правда, без большой надежды, что примут его в колхоз. Специальности сельской, считай, никакой. Рабочих рук две на все семейство и те поломаны, не срослись ладом. А за столом — сам пятый.

— Приняли?

— Со всем сердцем. Григорий Матвеевич Федирко наш и насчет дома похлопотал. Начиная разнорабочим. Потом на механизатора выучился. Что на тракторе, что на комбайне, хорошо управляюсь.

— А заработок как?

— Так теперь-то и сыновья подросли. Для них тоже в колхозе дело по душе нашлось. Жена в доярках. Всей семьей в получку по восемьсот и больше приносим.

Жить можно. Сейчас вот дом каменный строим. Колхоз ссуду, как водится, дал. Скотиной обзавелись...

— В город не манит?

— Нет, мне из Каменки уезжать никак нельзя. Меня здесь с добром встретили. И добро то отработать надо. Я в должниках не останусь. И ребята мои не останутся. Только отпуск кончится и пойду на сенокос: время уже к тому подходит.

Нам пора было собираться в дорогу. Мы предложили новому знакомому в полчаса доставить его в Каменку. Но он отказался, решив заночевать вместе с пастухами у пруда.

— Уху заварим на всю компанию. А на утренней зорьке еще раз попробую. Случается, на разваренную перловую крупу очень даже крупный берет.

Мы пожелали ему удачи. Пожелали от души. Чем-то расположил нас к себе этот человек. То ли приветливостью, то ли тем, что личную беду свою он не поставил в вину всем людям, не озлобился и на добро готов ответить добром. Только уезжали мы с удивительно хорошим настроением.

Уже в машине шофер сказал:

— Везучий же этот мужик Федирко. Такой работник сам ко двору прибрался. И столба у него с вывеской нет. А карасей — полно.

Везучий... Можно, конечно, и так рассудить. Можно рассудить иначе. Богатый выбор был у того работника. Сотни сел в области, и люди везде нужны. А выбрал он Каменку. Случайно? Нет, пожалуй, не случайно. Земля слухом полнится, свои крылья есть и у доброй славы.

В Каменку народ не на пустое место тянется. Знают люди, что в колхозе имени Ленина по решению правления каждому новоселу дают на обзаведение дом и корову, нарезают огород. Работы хватает. Заработком не обижают. Поэтому за год приживается здесь по 10—15 новых семей.

Свои ребята после службы в армии тоже все как один в родную деревню вернулись. А чего им не вернуться? Они знают,

что планом социально-производственного развития колхоза предусмотрено до 1975 года все и капитально переделать в Каменке. Будет свой отличный клуб, школа-десятилетка, спортивный зал, лодочная станция, магазин, большой сад. Водопровод в каждом доме есть. Но это только начало благоустройства быта. Григорий Матвеевич, провожая парней в армию, пригласил их к себе в кабинет и развернул перед ними такие проекты, что дух захватило. В коровниках, свинарниках, на токах — полная механизация, улицы покрыты асфальтом, в домах — горячая вода, централизованное отопление, канализация. Чтобы управлять таким сложнейшим хозяйством, потребуются грамотные специалисты. Хотите учиться, пожалуйста — колхоз поможет. Володька Шмидт учится в институте на инженера на полном колхозном обеспечении. Пятерых ребят направили в техникумы.

Вот тебе и везучий. Удача, она тоже на свой манер зрячая. Жизнь — не мотоцикл, ее по лотерейному билету не выиграешь. Тучки одинаково над всей степью гуляют. Но дождем проливаются там, где нетронутыми сохранились и разрослись березовые колки, где квадраты пшеничных полей хозяйски и с умом оправлены в зеленые рамки лесозащитных полос. Удача к тому идет, кто ее не на печи, сидя ждет, а к тому, кто ее на ногах в поле встречает. Брал колхоз далеко за 20 центнеров на круг. Возьмет за 30 центнеров. Остальное приложится. Хлеб, он всему голова. Только сам хлеб не растет. Его выращивают на таком вот поле, где вся агротехническая наука лицом к лицу встретилась с крестьянской, потом политой практикой.

— Быть этой Золушке королевой, — закончив осмотр полосы, сказал Федирко. — И с хорошим быть, богатым приданым.

...В тот день я еще долго пробыл рядом с Федирко. Для Григория Матвеевича этот день среди прочих страдных дней вряд ли был чем-нибудь особо примечательным. Был короткий разговор с главным инже-

нёром колхоза Пшеничниковым о том, как оборудуются уборочные агрегаты стеблеподъемниками. Попутно выяснилось, что у новых «Сибириков» есть одно досадное конструктивное упущение: не подступишься к муфте сцепления. Всякий раз механизаторам приходится снимать всю коробку скоростей. Порешили прорубить в кожухе комбайна специальные окна, а потом закрыть их съемными фартуками. У агронома Мещерякова свои заботы: семена. Он пришел к председателю заручиться его согласием о том, чтобы зерно с семенных участков надежно выделять из общего потока, вести очистку и подработку семян на строго определенных агрегатах, прикрепить к этим агрегатам наиболее опытных работников, предусмотреть для них повышенную оплату за качество и высокую всхожесть сортовой пшеницы. Заглянул на минутку главный бухгалтер: приближались квартальные сроки расчетов с подрядчиками за строительные работы и надо было все сделать так, чтобы и себя не обмануть, и их не обидеть. Ездили мы на центральный ток. Смотрели, как ведется подготовка животноводческих помещений к зиме. Подбирали надежную компанию для Хазова. И вот что я для себя заметил. Люди, которые приходили к Федирко или случайно встречались с ним на своих рабочих местах, не ждали от него пространных распоряжений и указаний, у них были свои продуманные решения и предложения. Не всегда, правда, удачные. Но ошибочные высказывания как-то не принижали их, не вызвали желания повиниться. Тут же, в беседе с председателем, находились новые решения, более верные в данный момент, приемлемые для всего колхоза, и дело продолжалось.

Потом был звонок из района, заставивший Федирко произнести передо мной разгневанную речь. Из района сообщили, что у них есть тревожные сигналы об отвлечении учащихся старших классов на уборочные работы, хотя уже дано указание начать в школах нормальные занятия, что

они не потерпят самоуправства председателей. А речь Федирко после того, как он бросил на рычаг телефонную трубку, прозвучала так:

— Вот и поговори с этой классной дамочкой. Для нее дети — цветы жизни. И не больше. Их беречь, их лелеять надо. На коня, чтобы копыта возить, не посади: вдруг задок намозолит. К машине не подпускать: вдруг ушибется. А что из такого цветочка к восемнадцати годам вырастет? Так, видимость человекоподобная, лодырь, пустоцвет. Мы часто диву даемся, как это сельский, рядом с нами выросший парень очертя голову готов удрать из родной деревни в любое другое место. А если разобраться, что в нем, этом парне, сельского? Прописка? Да еще социальное положение. Он и не жил, он все приглядывался к нашей жизни. Как этого не понять? Не отвечает школа за уборку урожая. Ладно. Но за воспитание-то с нее надо спрашивать?

Речь была сумбурная, с явными перехлестами в смысле обобщений. Но мне она понравилась. Понравилась тем, что Федирко опять поднимался выше интересов сегодняшнего дня. Сколько там эти старшеклассники наработают? Всем скопом за двух умелых мужиков? И мог он без существенного ущерба для колхоза посадить их за парты. Однако противился этому. Он видел в сегодняшних вихрастых мальчишках завтрашних работников, которым делать то, что делают их отцы. Он хотел, чтобы они знали, как трудно дается людям хлеб, чтобы в эту из плохих наихудшую осень они были вместе со взрослыми и, повзрослев, осознали свою ответственность за судьбу урожая. На их глазах на полях погибал хлеб. Хлеб! На их глазах люди работали от зари до зари, изо всех сил, пока не падали от усталости. Не только свои мужики — так работали и приехавшие из города. Спасали хлеб. А без них, без сельских ребятишек, опять бы как-то запросто обошлись. Раз обошлись, два обошлись... Какая же во всем этом педагогика? Мы твердим мальчику: «Не проходи мимо чу-

жой беды, помоги». А сами хватаем мальчика за руку и чуть ли не волоком, силой тащим его мимо горящего дома, чтобы наверняка не обжечься, мимо тонущего его сверстника, чтобы случаем и наш мальчик не утонул, мимо гибнущего хлеба, чтобы мальчик — упаси бог — не отстал от школьной программы. Конечно, за пожар в ответе пожарники. А кому отвечать за мальчика, который не живет, а лишь присматривается к жизни? Колхоз имени Мичурина вошел в силу не потому только, что здесь раньше других освоили безотвальную обработку. Не потому, что его председатель Баклыков лучше своих соседей угадывает оптимальные сроки сева. В этом колхозе в свое время правительственные награды за хлеб получали девчонки второклассницы. А сам Баклыков стал Героем Социалистического Труда тогда, когда был не председателем колхоза, а директором школы и вместе с ребятами на пришкольном участке выращивал рекордные в сибирских условиях урожаи. В колхозах и совхозах открываются детские лагеря труда и отдыха. Не ради того, чтобы занять свободное время празднующихся по улицам ребят. Прополка капусты — это уже не игра, не развлечение, а работа. Посильная, всего четыре часа в сутки, но работа, порождающая определенные обязанности, ответственность. И если среди ночи всполошившиеся ребята бегут спасать свою делянку от градовой тучи, не надо запирать перед ними дверь на крючок. Надо вместе с ними бежать на ту самую делянку. Намсморк пройдет, а ночь эта не забудется.

Мы привыкли оценивать работу коллектива, человека в процентах, кубометрах, рублях. И это правильно. В конечном счете для общества важно, что коллектив, человек делает порученное ему дело хорошо. Но нам безразлично и то, как это дело делается. Не в смысле качества, а в смысле настроения. Работа бывает в радость, бывает и в тягость.

Как-то директор крупного притаежного совхоза жаловался мне, что много скота

развелось в личном пользовании. Когда на собственном подворье пяток крупнорогатых, два десятка овец, свинья с очередным приплодом, у мужика сил достает только, чтобы с этой оравой управиться, накормить, напоить, в теплый загон поставить. Из уговоров у того директора ничего путного не получилось, и он применил более существенные меры воздействия. Взял и приказом резко ограничил размер покосов, запретил в местных магазинах продавать комбикорма. И добился этим противоположного результата. Уйдет мужик в тайгу и до седьмого пота бреет литовкой густо нашпигованную пнями полянку. Намается с утра пораньше, а потом до обеда дремлет у трактора.

В колхозе имени Ленина мясо и молоко в каждом доме свое едят. В деревне как без коровы? И пара подсвинков под присмотром деда, вроде бы, сами собой растут. Огороды тоже есть. Но вот штука какая. Заходит к председателю механизатор Николай Моталыга и прямо с порога:

— Сними ты с меня эту гиру, Григорий Матвеевич. Оставь для огорода закуток, а остальное куда хочешь.

— Что так? — спрашивает хитро Григорий Матвеевич.

— Свету белого с этим огородом не видишь. По телевизору футбол транслируют, а у меня проклятушая картошка не окучена. В кино сходить некогда.

Ну, с Николаем Моталыгой все ясно. Мужик молодой. Зарабатывает прилично. Жена у него учительница. Им вместе прочитанная книга дороже еще одного рубля на сберкнижке. Но вот с такой же просьбой приходит дед Прокопчук. Мне, говорит, эти капиталы на том свете без надобности, хватит мне в грядку носом жить, я, говорит, на солнышко посмотреть хочу.

Трудовой коллектив — это не только производственная ячейка нашего общества, это — и школа общественного воспитания, школа не абстрактная, а по-своему конкретная, со своими традициями, неписаными законами, обязательными правилами по-

ведения. В Промышленной подобрали на улице пьяного. Милиционер, как это водится, спросил фамилию, откуда приехал? Пьяный, видно, бывавший в таких перепелках, назвался Сидоровым, трактористом из Каменки. А милиционер ему в ответ: «Врешь, милоч, в Каменке таких не бывает».

Придумано? Вполне может быть. История довольно ходульная. Но в истории этой достоверно то, что механизаторы в Каменке ведут себя с достоинством, никогда не унижаются до того, чтобы пьяным валяться на улице: не такой в Каменке моральный климат.

...Я уезжал из Каменки с сознанием, что открыл в давно знакомом мне человеке новые, важные для меня качества. Это когда по лесу кружишь, все в глазах зелено. А выбеешь на знакомую тропку, шагаешь увереннее и шире, примечательность появляется. И вот еще о чем подумалось...

Сколько раз слушали Григория Матвеевича Федирко на различных заседаниях и собраниях в порядке обмена опытом хозяйственной деятельности и производства продукции. Не напрасно слушали. Такие урожаи, как в колхозе имени Ленина, получают пока далеко не во всех хозяйствах. Значит, есть чему у Федирко поучиться как у хлебороба. Но, право, нашел бы я время послушать доверительный рассказ Григория Матвеевича о его стиле работы. Без процентов и тонн.

Психологическая атмосфера складывается в трудовом коллективе не за один год, под влиянием многих факторов. Тут и такие глобальные катализаторы, как вся наша советская действительность, всеобъемлющая в своем охвате и влиянии партийная и идеологическая работа. Тут и моральные нормы крестьянского быта, передающиеся от отца к сыну, от соседа к соседу.

Но как много при всем этом зависит от руководителя коллектива, определяется его тактом, талантом воспитателя! Вконец

около нового водоема столб с грозной вывеской — еще не означает развести в нем рыбу. Рыба та может запросто задохнуться зимой подо льдом или заболеть и передохнуть от чрезмерной скученности. В Каменке пруды общедоступны. И, заметьте, это вполне соотнобразуется с хозяйственной целесообразностью. Карася удочкой не выловишь: клюет лишь тот, которому не хватает корма. А за порядком на берегу рыболовы сами следят лучше всякого сторожа. Любопытство к солнышку у деда Прокопчука появилось не на пустом месте. Такая стала в деревне жизнь, что дед сыт, одет, обут. Ну и ладно. Мог тот дед посадить на своем огороде ровно столько, сколько ему надо, а на остальном — пусть бурьян растет? Мог. Но он пошел к председателю, отдал ухоженный им клочок земли родному колхозу. А председатель, у которого на уме десятки тысяч гектаров угодий, не отмахнулся от этого подарка, при людях спасибо деду сказал.

Бегал по деревне парнишка Николка Мещеряков. Зимой в школе, летом в подпасах. Того чаще у машин крутился. То ключ подаст разводной, то нужную деталь принесет со склада. Потом сам на трактор сел, комбайном овладел. После армии техникум закончил заочно. Теперь Николай Иванович Мещеряков — главный агроном колхоза, первый заместитель председателя.

Вот и воет Федирко с тем, чтобы эти естественные для сельской ребятни дороги другим тоже не были заказаны. К труду человек приучается с детства.

...Трудно растить хлеб. Требуется он и сил, и ума без остатка. И все же выходит так, что настоящая зрелость к руководителю колхоза приходит в тот день, когда он впервые увидит, как растут рядом с ним люди, как Николка Мещеряков становится агрономом.

Обо всем этом я бы и попросил на очередном совещании доверительно рассказать Григория Матвеевича Федирко. Хлеб, он ведь тоже для людей.

О МОИХ ЗЕМЛЯКАХ-КУЗНЕЧАНАХ

Хлебороб

Все пишут о тебе легко и складно
И рифмы сочиняют на лету.
А был ведь трудный май, и был октябрь страдный,
И между ними — лето все в поту.
Давно метели над Кузнецким краем,
Мы плавим сталь, забой штурмуем в лоб.
Но редко кто за пышным караваем
Тебя добром не вспомнит, хлебороб.
И пусть ты для шахтера безымянный,
Он всякий раз, достав свой «тормозок»
С поджаристой горбушкою румяной,
Почувствует земли и дух, и сок,
И рук твоих тепло, и щедрость сердца,
И силу, что вложил ты в этот хлеб...
Есть праздный хлеб. Есть хлеб единоверцев,
Своим горбом добытый на земле.

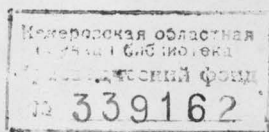
Настя

Над тощей журавлиной шеей крана
Затеппилась заря едва-едва,
А город еще спит, и кажется, что рано
Залопотала тополей листва.
Но вся легка, светла и голенаста
По лесенке спешит под облака
Почти девчонка — крановщица Настя,
И с той поры — весь мир в ее руках.
Она привычно ветошью оконца
Протрет и подивится облакам.
И самой первой примет в руки солнце —
Беспомощного рыжего телка.
И над землей, что дремлет в дымке росной,
Подымет его, утро возвестив, —
И грянет птичий хор звонкоголосый,
И травы в рост пойдут, и сад начнет цвести.

И день-деньской над пробужденным миром,
Над строящимся городом кружа,
Звенеть не перестанут «Майна!» — «Вира!»,
Взрываясь эхом в гулких этажах.
И день-деньской у девочки во власти
Бригада расторопных пареньков
Все будет путать солнышко и Настю,
Поскольку разглядеть их нелегко.

Модельщик

Простаивала мысль, и он нередко
С другими столярами заодно
Для плана гнал столы и табуретки,
И плинтус, и дверное полотно.
И не сказать, чтоб вовсе без охоты,
Но и рубаха — тоже не в поту.
Зато уж, по всему, его работы
От прочих отличали за версту...
Но вот влетал в столярку мастер цеха,
Что формовал опоки для литья,
И понимал он — кончилась потеха,
И ощущал всю радость бытия.
Он брал с ладоней мастера детали —
Замысловатей выдумать нельзя! —
И как-то с уважением затихали
За верстаками все его друзья.
Теперь он сам — на бога не надейся! —
Творец, создатель, высший ОТК —
И начиналось колдовское действо,
И оживало дерево в руках.
Он мыслил — и являлось озаренье,
И на глазах у всех рождалась вдруг
Модель отливки — как стихотворенье,
Как сплав талантов разума и рук.



Какой бы мерою ни мѣрить,
А в должниках я все одно
Перед собой, по крайней мере,
Перед тобою, край родной.
Уже посадчики — по лаве:
Последней смены уголек, —
А я к твоей рабочей славе
Добавить ничего не смог.
Не отыскал строки заветной,
Что вровень с камешком угля
Смогла б вобрать всю силу света,
Весь жар любви к тебе, земля.
Зима подходит, дни короче,
Посеребрил виски снежок,
И паспорт выдан вот бессрочный
На весь отпущенный мне срок.
Не за горами час морозный —
Застынут стрелки на бегу,
А — хоть убей! — в отряд обозный
По доброй воле — не могу.
Еще надежды полон дерзкой
Слова заветные найти,
Воспеть тебя, мой край Кузнецкий,
А там уж — и прощай-прости...

ЧЕРЕМУХОВЫЕ ХОЛОДА

РАССКАЗ

Белик ли мой век, а три войны пережила.

Ну, те — мировую и гражданскую — помню смутно, а вот эту последнюю, Отечественную, и по пережить лет вспомню — только «ох!» скажу, больше ничего.

Поселочек наш на озере стоял; озеро не то чтобы большое по сибирским понятиям, но воды много держало, глубокое было — на середке дна не доставали. А уж ладное да красивое, — это я только теперь издалека, стала понимать.

Наш берег яром обрывался, из мела весь, а в прослойке красный. На восходе глянешь, ну будто облако легло и зажглось. А поверх — луговина, за луговиной черневая тайга. И на дальнем берегу тайга по склону, однако не везде, а гривами. А между грив, по низинам, — покосы, светлые места, ухоженные.

И только Долгий мыс, что с той стороны выдавался, окидан был черемушниковым кустарником. Он, черемушник-то, и зимой, и особенно осенью — черный стоит, аж угольный, грач залети и пропал. Зато в мае он свое берет. Сперва светленький дымок, сзелена как бы, потом пеной, пеной, будто кто взбивает.

С ветром — и запах, а когда прибой, то и цвет на берег выбрасывает. Сколько цвету! А до мыса того, если на гребях идти, час расстоянья, не меньше.

Зато небо — всему голова. Утром выходишь, прежде всего кверху гляди. Что небо обещает — тому и быть. И красит всю природу небо тоже, настроение дает. Оно пасмурное, мóрочное — и озеро злое, пасмурное. Оно голубое да веселое — и вода в озере бирюзовая да прозрачная. И тайга небом живет, его цветом да отблеском дышит.

В поселке с довоины еще промхоз организовался, рыбой да диким мясом, да орехами промышляли. Железный рудник по договору обеспечивали.

Местные старожилы хорошо жили, на окна фигурá, пить ¹ сядут — стаканы с подстаканниками. Да и нам, поселенцам, жаловаться было грех. Конечно, не в капитале жили, по нынешним временам не сравнить. Но достаток нашего дому тоже не обходил.

Павлуша в рыбацкой бригаде состоял, а я как бы в помощниках при нем. Ну — это когда дети позволяли. Их к тому сроку у нас с ним троеросло. Старшенькой Ольке девять лет, Кате шесть, а младшенькому Мите — три годочка.

Да еще жил с нами свекор, древний уже, летом римов не снимал. И совсем памятью оскудел. Не помнил даже, как пальцы на руках называются. Бывало, скажет: пальцы-то не помню какие. Это вот прихватный (значит, большой), а тот-то мизинец, что ль? В сорок третьем, по весне, я за него чуток было ума не решилась. Ну, да лучше по порядку.

И вот взялась эта проклятая война; мужчины наши пошли. Скоро поселочек осиротел. Павлушу моего уже к осени призвали. И сразу на фронт, сразу на первую линию попал.

Провожали мы его, он ребят перецеловал, меня, говорит: смотри, Мария, береги ребятишек, сына береги. Все прощу, а за ребятишек — нет. И залез в грузовик, ни слова больше... Он меня любил сильно, он меня по душе брал...

Ночь или две проревела я, шутка ли в деле: один мал, другой меньше, третий еще меньше. Да еще старый впридачу, по уму ровня этим троим, за самим пригляд нужен. Уревелась вся, но сколь реветь — слезы-то не песня. Надо жить.

Пополнили бригаду стариками, подростками, меня звали, но не пошла. Артельная работа — по всему дню, а у меня дети, домашность, куда уж. Решила самостоятельно рыбачить, тут я себе хозяйка, когда время выпростается, тогда и ладно. Договор небольшой подписала, ставные сети мне, тару, все честь по чести. А лодка у нас с Павлушей своя была, добротная лодка, края широки, разливисты; захочешь, да не выпадешь. Стала я промышлять единоличным как бы способом. Выметнула сети — двенадцать штук, недалеко так, напротив Долгого мыса. Старшенькую с собой посадила, Ольку, поддержать там что, подать, все подмога.

Поплыли через день, одни сетки порожние, в других есть. Натрясли две корзины — сорога и окуня маленько. Воротились с легкой душой, слава богу, лиха беда начало.

И пошло-поехало. Уловы не шибко щедрые были, но ровные. Две-три тони — и готов бочонок, а в нем считай центнер. Павлуша мой увидел бы меня в деле, порадовался: хваткий ему ученик попался!

Однако и осень та первая тихой да робкой выпала, будто заманивала, вихорь ее подыми! Уже октябрь — вот он, трава отзябла, северная утка пошла, а озеро как маслом, скажи ты, залитое, и небушко голубое до самого окоема. Яснопогодье, словом.

Так-то с яснопогодьем и в зиму ушли.

А зимы у нас глухие, пагубные. Наши бригадные и по льду рыба-чат, я уж в отставке, по дому кручусь. Выбежишь, бывало, к конторе, сводку военную послушаешь да что люди говорят — и назад. От Павлуши живые весточки идут, пусть и не часто. А получу письмо — подушка по всей ночи сырая. Радоваться бы надо, веселеть, но нет. Дак это ведь как в старину: хоть по любви выходишь, а на свадьбе плачь!

Ну — помаленьку обманули зиму, однако запасы порастрясли. Да горевали мало, вера была: одолеют наши немца в сорок втором году, Сталин сам говорил.

Лед на озере рухнул — я опять за свое. Снасти починила, лодку подконопатила, в порядок привела. Здесь уж мне свекор помог, Савелий Ильич, мастер он был по лодочной части. И скажи ты, голова забывала, а руки помнили!

Вот с весной, новой-то путиной, и началась моя эпопея, доведу не забыть!

Подымаю раз сетку, она ровно с камнями, окуна зеленым-зелено, почитай, в каждой ячее по окуню. Трясла я трясла, руки отерпнули. Другую из воды, а там та же прорва. Третью, четвертую... шестую, и кругом окунь, аж рябит.

Полдня с ним прохлесталась, руки закровянила, еле дышу. Олька моя на корме сидит хныкает — и есть хочет, и продрогла. А я рыбу в сетях бросить не могу, закостенеет, тогда со слезами не выдерешь. Ну — управилась, приплыли домой, солить надо. До темноты солила, два бочонка с верхом и еще себе оставила.

Назавтра плывем, поддеваю шестом первую тетиву, под ней живая кипень. Окунь растреклятый, опять все сети заурюзил! Да что делать, надо выбирать. А уж одно к одному — ветер посвежел, волнишку вздыбил, лодка ходуном, склизко. Говорю Ольке: садись, доченька, за весло, придерживай встречу ветру носом, как можешь.

Села она, подгребают, а весло тяжелое, неухватистое. У нее жилочки на шее, как струнки... Не помню уж, как и опоржнила я сетки, под вторую доску натрясла, это надо же!

Гребусь домой, сама думаю: куда улов определять, вся тара за-простана. Приплыла, бегу в контору рысью, заявляю: звоните прием-щику, тара нужна, пусть подвезет. День до вечера — ни тары, ни прием-щика. Снова в контору, шуметь начинаю, улов же пропадает.

А мне в ответ разъяснение. Ты, Мария, не шуми, потому как тарой в первую голову бригадная рыба снабжается. Это почему же, говорю. Или мой договор недействительный, или моя рыба не из того же озера?

А какая рыба-то? Окунь? Ну, вот, говорят, ты сама трезво при-кинь. При нынешней ограниченной таре, поскольку бондарей нету, мобилизованные, кому преобладание: бригадному сигу и хайрузу или твоему единоличному сору?

Баба я была задорная, рьяная, если заденут — все гужи порву. Я что, кричу, выбираю этот сор? Да с этим окунем маяты, чтоб он сдох, вроде вы не знаете. На свет народились! Будь мой Павлуша здесь, вы бы не так разговаривали, а вынь да положи!

Ну, пошумела я, как колокол соборский, побунтовала, душу отве-

ла, а потом стоп: да ведь правильно все, законно, по расчету. Бригада промышлять уходит за десять верст, на ямы, там и живут. / Приемная цена хайруза пять рублей кило, а сига дак восемь пятьдесят. Мне на ямы не под силу, я до Долгого мыса и обратно на гребях дойду — руки после всю ночь в плечах ничо не слышат. А под мысом окунь да сорога, ну и щука когда. Цена окуню девяносто копеек, а 'сороге и того чище — семьдесят. Истинный сор! Какой с того заработок, посчитайте, если одна соль шестьдесят копеек кило.

Да ведь и то правда — знала я все и прежде, чего же теперь задним умом бухгалтерию ворошить. Только обидно что. Ну да обиды копить — с людьми не жить.

Дальше — больше. Май был, уже зелень выбросило, и вдруг занепогодило — шторма, мокрый снег, ночью берег аж гудит. Прокрадемся с Олькой под Долгий мыс, там вроде затишок, а обратно — ну хоть ты матушку-репку пой. Повдоль берега, где помельче, бурлаками. Измокнем все, исхлещемся, я-то взрослый человек, а она что — ребенок, девчонка. Дома сядет на лавочку, Катюша да Митька, как мурашки во круг нее, обувку сдергивают, полушалок развязывают — сама-то уже вся.

Тут как-то накануне штормило сильно, приплываем, а сетей нету, меня так и подсекло. Стала багром шарить, подцепляю одну. Как веретеном перекрученная, в траве да тине, ничего злее не бывает. Выудила и остальные, а две так и пропали.

Сели мы с Олькой под берегом, разбираем. Дак ведь только подумать — сеть после такой холеры разобрать. Дешевле выбросить, да где новую взять.

А вода, ой какая вода, как железная, холодная, и 'сивер будто с цепи сорвался, насквозь. У Ольки шубеночка некорыстная, сгорбилась девка, траву дерет, а трава злая, осочистая. Нет-нет да и рыба попадется, колючки растопырила, выдерешь — наплачешься. Гляну на ее руки, они как гусиные лапки. Брось, говорю, дочка, побегай, посогрейся, сама управлюсь.

Ну — не управилась, верно, на завтра оставила. Утром бужу ее, она ни в какую. Я уже и к лодке все стаскала, она все спит, одеялком укрылась. Да тут еще Савелий меня в раззор ввел, забыл корзину на берегу, ее и смыло. Олька, кричу, ты подымешься или тебя скалкой подымать, бессовестную, да в горячах одеялко с нее дерг!

А она... она лежит в рубашоночке, сжалась, глаза на меня выставлены, а в глазах слезы... Личиком дрожит и руки под себя запихивает, как бы прячет.

Оборвалось во мне, беру их, разжимаю, а пальцы все в язвинках, в язвинках, и ладошки разъедены, как банные.

Тут надо мной будто потолок раскололся, огнем по сердцу. Боже мой, чего же я делаю, куда гляжу, до чего дите родное довела, баба безмозглая, нерадивая. Упала на колени перед постелью и зашлась, а потом в голос. Вспомнила: третьего дня Олька из рук блюдец выронила, а я ее прибила за это. И оттого — еще пуще. Ребятишки испугались и тоже в рев.

Пропади ты, думаю, рыба, девчонку с собой не поташу больше, сама как-нибудь. Да и младшенькие без догляда — страх смотреть, перестыли, осопели. Как зверята голодные, то на подогретом, то вовсе на холодном, всухомятку.

Однако же главное нас впереди караулило.

Питались мы с этой весны, считай, уже гольной рыбой. Летом огородишко подсоблял (да робко росло, земля тощая), а зимой что — опять рыба разного звания. И соленая-то, и вяленая, и пареная, а то еще сушили, в ступах толкли, мука получалась.

Вторую зиму мой младшенький совсем заплошал. То ничего, веселенький, а то кричит по всей ночи, будто грызь какая напала. Рыбки поест, а ее обратно. Я к нему: Митенька, Митенька, где болит, где вава, покажи ручкой, он только пуще того. Напою его сушеной медуницей, он вроде бы успокоится, замрет. Значит, с животиком неладно.

А потом стала замечать: он головку плохо держит. Или бежит-бежит да на ровном хлоп, падет. Тогда я что — в охапку его и к санитарке в пункт. Она помяла, послушала, говорит: тут, тетка Мария, моего дела нету, тут от питания все, от рациону...

А войне конца-краю нет, лютует немец, нашей земли домогается; и здесь слышим, наподдали ему под Сталинградом, окружили и в пух. Прорва его там полегла. Ну, слава тебе, вздохнули мы в одно сердце: и на нашу улицу дождались праздника.

Да вот с той поры от Павлуши письма как отрезало. Перегорело во мне все тогда, только и живу детьми, ложусь с маятою, как завтрашний день одолеть.

Солнце припекать стало, я Митю укутаю в разную одежку и вынесу на пригревочек (ножки у него уже не ходили). Он сидит, жмурится, а сам, как льдинка весенняя. Господи, думаю, дотянуть бы нам до чистой воды, до первой зелени, а там уж мы не поддадимся. В апреле, только снег посогнало, я с ребятишками в тайгу, на болотины и согры — клюкву собирать. Отожму сок и пою Митю.

Да ведь как говорят: пришла беда — открывай ворота.

Савелий наш к тому времени совсем, считай, обеспамятел. Иной день ходит здоровый, по хозяйству чего-то соображает, к ограде досочку прибьет или тяпку наострит; а то крышу решил латать, полез было, да я увидела, не пустила — убьется ведь.

А иной... Однажды нету и нету Савелия, куда, не пойму, старого удуло. Под вечер время, входит соседка, а за ней Савелий. Принимай, Мария, своего блудного! Как так? А вот так. Спускаюсь с угора, а он, Савелий-то, сидит у родника, на колодезном срубе. Ты чего, спрашиваю, дед Савелий, тут высидиваешь? А он на тебе: дорогу, говорит, за был, где дом не знаю!.. Ну дите и только.

Стану с тех пор отлучаться, ребятишкам, Ольке с Катей, наказываю: за дедом присматривайте, на шаг со двора не отпускайте!

А дней через десять или больше (когда уж началась моя третья пухина, ох) возвращаюсь домой, еле живехонька, а деда Савелия опять нету. Я на ребятишек грозой: где дед, почему недоглядели, марш ис-

кать! Пошмыгали они по поселку да по за огородами, вернулись ни с чем.

А уж сумерки, вывездило. Вижу дело худо, схватилась и сама. Все дворы избегала, изругалась на старого; и на озеро, и по угору поднялась, покричала: может, где отзовется. И наново по дворам, да ведь никто из поселковых не видел его тот день. Ах ты, родимец тебя сломай! Всю ночь глаз с глазом не свела; чуть обутрело — я снова да ладом, искать заблудшего. Полдня пролетала, совсем ног решила — нету, хоть ревмя реви.

Побежала в контору, человек, мол, пропал.

Собрали стариков, кто шевелится, баб, ребятишек постарше, айда местность округ поселка обшаривать. День шарили, два, всю тайгу огласили — никакого результата. Из сил вымотались, да и у каждого дела, домашность, отступились искать.

Через неделю у меня самой руки пали: сгинул дед Савелий. Восемь с половиной десятков на свете прожил, мастером слыл в свои годы — на удивление. И охотник, и рыбак, и бондарь. Лучшие в краю лодки — его, Савелия Ильича, руки. Охотничьи избушки-зимники на сто верст по тайге — им рублены. И вот пропал, ни тебе следочка, даже могилки на земле, как ровно вознесся, ой лихо какое!

Да ведь и рассказанное — не все.

Как-то вскоре полезла я в сундук с бельем, вижу: вроде не мой порядок. Предметы не так положены. Ребятишки, думаю, похозяйничали, да не должны, не баловные. И будто кто меня под руку толкает. Лезу дальше, в уголок, где дедова одежка, где его чистое исподнее, а там пусто, ну то есть ничего.

Брякнулась я на сундук, сижу, в ум никак прийти не могу. А потом мне вроде горькое озарение: не потерялся дед Савелий, не заблудился! Сам ушел, своим желанием, чтобы обузой не быть, лишним ртом. Умереть ушел!

Уже не знаю, может, моя тут вина, укорила его когда ненароком, так не помню, не было, а все равно казись. И такое в голову хлынуло, так сердце замозжило, хошь живи, хошь на обóрочке удавись...

Май сорок третьего стоял с густым таким небом, с далью. Мимо просохших тропок ветреник зажелтел, под оградой крапивку щепотью уже взять можно. Сойдешь яром к озеру, а по озеру черемушный цвет, будто чешуя, играет. Мартышки уже прилетели (чайка у нас так зовется), галдят, табунятся, пищу делят.

Май на исходе, а и под шубейкой знобит. От воды, от высокого небушка холодом так и накатывает (старики наши об этом времени говорят: это, мол, на севере льды раскалывает). Да ведь мне, молодой, только за весла сесть — самое лучшее согревательное.

Стала я с весны промышлять, иду и ружье с собой в лодку кидаю. Охотник из меня — смех один, сроду по-серьезному не охотилась, а ну гогль какой или шилохвостка вывернется, неуж упущу? Бывает, над самой головой так и фыркнут. Мне сейчас в моем состоянии ничем брезговать не след.

Выходила из дому ой как рано, еще на сутёмочках, едва брезжит.

Пока до места доплыву — уже и светло, выбирать сетки можно. На воде тишина, глушь, даже мартышек не слышно. Один звук — под днищем похлопывает. Гребусь так, чтоб наш белый яр (его и в сумерки видать) чуть правее кормы оставался; и не оглядываюсь плыву, уверена — в аккурат на Долгий мыс попаду, привычно уж.

Руки знай работаю, а голова вся в заботах на день. Перво, думаю, как вернусь, грядки дорыхлить край надо. Не то срам: у соседей уже батун на вершок, а у меня трава сорная, летошная. Ребятишки, ох, обувкой вконец обносились, босые выскакивают, чирей одолел, ничо не помогает. Придется Ольку в пункт послать, может, какое втиранье дадут. Вчера мукой отоварили, а она лёглая, затхлостью отдает; дождя бы не было, так рассыпать на листе, проветрить. А тут саму черт под руку толкнул: на неделе стекло ламповое чистила да раздавила, ума не придам, где взять, а без стекла — копоть и глаза за шитьем да починкой тупеют. Ко всему еще этот камень на душе — дед Савелий. Рано ли поздно, а Павлуша объявится (вера во мне какая-то жила) и тогда отписать ему придется. А как писать-то? Ушел, мол, отец и с концом. Как так ушел, куда? Каково ему читать на фронте?

Плыву я, заботы в уме перебираю, рассортировываю. На воде ни ветра, ни зыби, ходко иду. Небо просветлело, и озеро за ним следом.

Тут возьми я и оглянись мельком, далеко ли до мыса. Ну, недалеко, рукой подать; снова гребу, а в глазах какая-то точка на воде, какая-то заковырочка осталась, запомнилась. Что такое, снова оборачиваюсь, острó гляжу.

По правую руку наш берег, а по левую — черемуховый мыс, коска песочная. Озеро будто река — в самую даль, докуда глаза хватают. Гляжу и вот оно: ровно живое что двигается, рябь гонит.

Налегла я на весла, ближе. Ума не придам — то ли лошадь через озеро плывет, то ли телка, морда над водой стелется.

Постой, сама себе, да откуда тут скотине быть? И уже различаю: серое, с рыжа; уши то торчком, то в лёжку. Сохатуха! Меня так всю жаром и обнесло.

Залихорадилась я, завертелась посреди лодки, как ужака на муравьище — туда, сюда. Шутка ли в деле, сохатуха!

Хватаю круче к мысу, ей напересек. А та уже заметила меня тоже, башкой задвигала, закрутила и быстрее ходу. Я в азарте шубейку с себя, полушалок с себя, — началось у нас соревнование.

На гребях идти — меня этим не испугаешь, по часу, бывало, плюхаю без отдыха (оттого и ладони, как наждаки, ребенка погладить боюсь). Ну, а тут, что ты будешь делать, отмахала саженой сто, и то ли от азарта, то ли от суеты да спешки, вижу: все, зашла, задышка берет, млею. Сама себя костерю: ну, говорю, Мария, ну Мария, ну растяпина дочь, упустишь случай, больше не жди. Такое раз в жизни бывает.

Брошу глаза через одно плечо — вот он носок, а перед ним, знаю, долгая отмель; гляну через другое — вот она, сохатуха, морда с холкой в струну, аж воронки за спиной вьются; тоже знает, что напротив носка отмель, ее спасение.

Слезы закипели во мне — от переживания сердца, от неудачи. Уперлась я пятками в укорину, в дугу, и из последних своих силенок, только бы, думаю, поясницу не пересекло. Еще саженой пятьдесят отмахала, ну, это уже на износ; оборачиваюсь, воздух ртом хватаю, гляжу.

А волосы не покрыты, распушились, на лицо ливнем, не вижу сохатухи, ничего не вижу (коса у меня с молодости была толстая да длинная — садилась на нее). Волосы отгребаю, головой круть-верть, глазами по отмели шарю — нету, по берегу — нету. Что за наваждение?

Тут слышу, лодка передком обо что-то торк! и враз фурчанье — как бы из-под самого днища. Оглядываюсь, а это она, голубушка. Лодкой ее по башке ушибло, она аж курнулась по самые уши. Вынырнула, ушами стригет, давай кашлять. Сама кашляет, носом фурчит, а сама мордой туда-сюда, туда-сюда. Да столь близко, жутко даже; никогда я столь близко зверя живого не видела.

Оторопела я, сижу полоротая, ум отсекло — как быть? Ружье в корме валяется да и чего сейчас им делать, ружьем, на глубине-то?

А сохатуха и к корме повернет, и к носу — лодку обойти. Я веслами тоже — то вперед гребну, то назад, загораживаю, а для чего, сама, убей, не скажу. Вот такие догонялки устроили.

Озеро чистое, проглядное. Видно, как она всеми четырьмя ногами шевелит; а шерсть по ней дыбком. Гоняемся, гоняемся и тут вижу, стала она морду задирать. Засипела, зубы ощерила, а круп все глубже и глубже в воду. Бросила я весла, вскочила. Чего же это такое, неуж тонет?

А она уже зубами воду хватает, пузырит округ и на меня глазом косит. А в нем, господи... такой крик, такая мука... И сквозь зубы стоном...

Здесь уж я совсем из здравого рассудка выбыла. Куда робость отлетела. Подгрелась к ней, на край грудью упала, охватила за шею, как бы удержать, не дать утонуть. Да мыслимо ли? И уж мелькнуло в отчаянности: да выплывай ты, животина окаянная, ступай себе, холера с тобой, век тебя не видела и не надо, только выплывай.

Держусь за нее, обнимаю, а по ней дрожь, руками чую. И дух, как от мокрой скотинки. Лодка с края на край ходуном, того и гляди вместе кунемся. И уж вконец огрузла она, ну никакого спасу; ладони мои по шерсти потекли-потекли.

И вдруг — откуда что! Как она морду свою горбатую кверху вскинет да ударит! Лодка краем черпанула, а я в корму снопом!

Подымаюсь на четвереньки, в висках бубенцы, а сохатуха аж до плеч из воды высигивает, да раз за разом, кипень стоит. Знать, задними ногами дна достала, отмели. Задела копытом по лодке, отщепина так и полетела!

Лодка моя заболталась на волнах и — каруселью, а я сижу ни жива, ни мертва, локоть щупаю, отсушила падая. Зверюга скачет, храпит, донная муть за ней ключом — и уже берег вот он. А когда всеми четырьмя ногами днахватила, тут и пошла!

Все во мне разом схлынуло, вся жалостливость, куда что. Будто отрезвела: уходит сохатуха, такая добыча уходит!

Не стану говорить, что я детишек своих вспомнила, нужду свою, разруху. Не было в те моменты этого; вроде никаких мыслей не было, а один голос души: чего же ты, баба, скисла, чего медлишь!

Выдергиваю из-под себя ружье (аккурат на него локтем упала), подымаю, мушка прыгает, разбегается. Сохачью голову ловлю, за ухом самое верное место, это я знаю: Савелий Ильич, упокойничек, много раз про охоту рассказывал.

И ведь мыслимое дело. Сызмальства в бога не верила, иконки в доме не держала, а здесь целую и губами шепчу: господи, не дай промахнуться, господи, пособи...

И тут на тебе! Вот так в створе — сохатуха, берег с откосом, выше — черемушник стеной. И вижу в момент, краем глаза (как бы и не вижу), выскакивает из-за кустов, из черемушника, теленок-сеголеточек.

Вскочил и бежит. Бежит-бежит прискоком, аж ушки встрепываются. К матери бежит. Из себя такой рыжий, только побелее, лобастенький, а копытца, как стеклышки.

Оторопела я, охнула в себе. Не вижу телка, света не вижу, за что же мне еще это наказание?

Сжала я душу в горошину, окаменела.

А он будто почуял что, замер сразбежки и стоит, привскакивает, носом-бирюлькой фукает, торопит как бы.

Выстрелила я...

Сохатуха башкой замотала — и из воды, только песок комьями. Перебежала берег, мимо телка и на откосок.

Промахнулась, Мария, промазала!

А сохатуха впрыгнула на откосок, впрыгнула и стала, как врытая; стояла-стояла да и повалилась тут.

...Не перескажу, как доплыла я до поселка, спеклось во мне все и равнодушие одолело.

На подмогу особо уговаривать не пришлось; старики и бабы аж замолчили на меня: милушка, милушка, как сумела да как сладила?

Вернулась я с людьми на Долгий мыс уже к полудню. Сохатуха под черемушником как была, а телка нету. Взялись старики разделявать, а он вот он, из кустов голову просунул и смотрит...

Ушла я к лодкам, что-то знобко мне стало; легла ничком и лежала, пока не погрузились. И ведь ни кусочка того мяса я после сама не съела: не могла, хоть ты что.

А среди лета уже, каким-то случаем, отыскался наш Савелий Ильич. Лежал он в одной из своих дальних промысловых избушек (нашел же дорогу!), весь в чистом, как щепочка высветил, и свеча в головах обгорелая,

Братские могилы

Для меня становятся родней
Братские могилы — стелы, плиты
Той войны, в которую зарыты
Дни и судьбы Родины моей.

Братские могилы — стелы, плиты.
Не постигнув весь мемориал,
Я архитектуру подвергал
Критике, святую, деловито.

Здесь не пересматриваю взгляды,
Было в рассуждениях зерно.
Очень часто очень заурядны
Памятники наши были, но

Не подвластен вырвавшийся стон!
Горе человеку не подвластно:
Не стараюсь выглядеть прекрасно,
Как уж есть, рыдает просто он.

Той войны, в которую зарыты
Группами по несколько мужчин,
Я никак не понимал причин —
Каждому хватило бы земли-то!

А живые — как могли посметь! —
Всех в одной могиле хоронили.
Невозможно. Может, в спешке! Или
Братство перешагивает смерть!

Дни и судьбы Родины моей.
Растворяюсь до последней капли,
И уже неразличим я как бы.
А война все дальше,
Все видней.

Я дождик и снег в две горсти
Хожу собираю по городу,
Чтоб дождиком летним пройти!
Чтоб снегом свалиться на голову!

Мне ночь от звезды до зари,
Туманной, укутанной, утренней,
Чтоб руки и речи твои
Весь день вспоминать перепутанной.

Склонюсь поиграть с муравьем,
В руке золотая соломинка,
Чтоб было привычно потом
С детьми, наклоняясь, знакомиться.

Потом уступлю на пути
Я жизнь мою внуку веселому —
Чтоб дождиком летним пройти,
Чтоб снегом свалиться на голову.

С разбитыми локтями и коленками
Неповторимо детство никогда!
От йода, подорожников, календулы —
От времени зажило навсегда.

На собственных веселых именинах
Вдруг ахнешь у беспечного стола:
Ан молодость уже неповторима,
А кажется была иль не была!..

С порога, как с высокого обрыва.
Вчера лишь будто стая пронеслась
Тех чувств, и ветерок ее порыва
Еще на лицах теплится у нас.

Есть светлая особенность печали,
Предчувствия растерянная дрожь,
Когда уже полжизни за плечами,
Но все-таки еще чего-то ждешь.

Спокон веку,
Потирая шрамы,
Перемены вроде и не ждешь,
Ветераны, словно бы шаманы,
Запросто предсказывали дождь.

Опыт мой неполным был доселе.
Но теперь и мы не абы как.
Плачет мой сыночек в колыбели —
Тожe к перемене в облаках...

Я хочу сказать сегодня, други,
Истины особой не открыв,
К непогоде прошлые недуги
Снова ощущаются, остры.

И должно случиться это с нами,
Наболит, накопится в груди,
Чтобы нам предсказывать стихами,
Что же там таится впереди.

I

Горный мастер Сергей Мишин подошел к телефону, установленному в вентиляционном штреке, и снял трубку. На исходе был пятый час утра. Смена заканчивалась. Еще каких-нибудь полтора часа и можно шабашить. Надо вот только дозвониться в механический цех, узнать, как дела у слесаря, которого он посылал помочь собрать электромотор.

Константин Андреев

АВАРИЯ

РАССКАЗ

— Это Мишин? — спросила телефонистка.

— Он самый, — весело откликнулся Мишин, хотя за ночь ему порядком пришлось помотаться от забоя к забою. Он устал, но был доволен. Смена проходит удачно. Наберется, пожалуй, побольше тех пятисот тонн угля, которые надо было выдать на-гора по наряду.

Он выведет людей на поверхность, хорошенько вымоется под душем. После ласковых струй воды усталость слегка отступит. А там, глядишь, подойдет электричка, Мишин сядет в нее и, пока доберется домой, вздремнет в вагоне. Он так любил эти тридцать минут в электричке, плавно несущейся по рельсам, проложенным от шахты к поселку!

Телефонистка, откликнувшись

на его вызов, вдруг куда-то исчезла. Потом ее голос снова донесся из трубки, и она сказала, что соединяет его с дежурным по шахте. Мишин даже не успел ответить, что дежурный ему ни к чему, что ему нужен механический цех.

— Мишин, — хрипло прокричал дежурный, — ты знаешь — Баранкина убило?!

— Что-о-о! — только и смог произнести Мишин. Его обдало жаром. Левая рука, которой он держал трубку, задрожала. Он крепче придалвил ее к уху, стараясь унять дрожь. — Как это...

— Как — это должен ответить мне ты, — резко прервал его дежурный. — Пока известно, что Баранкин попал под фрезу. Иди к комбайну, пошли кого-нибудь за носилками на бремсберг.

Мишин торопливо повесил трубку, бросился во мглу штрека, освещающая себе дорогу лампой. В его ушах все еще звучал хриплый голос дежурного: «Убило, убило...» Что там могло произойти? Может, дежурный ошибся, может, обыкновенная травма, мало ли чего случается в шахте! Мишин и хотел верить в то, что дежурный, сидящий в большом кабинете на поверхности шахты, не разобрался, напутал, и в то же время... такими словами не разбрасываются — убило! Дежурного он знал как человека серьезного. На мгновение встало перед ним его лицо — с глубокими, частыми морщинками, худое и болезненное.

Не переводя духа, Мишин миновал короткую ходовую печь и очутился в забое. Возле замершего комбайна молча стояли люди. Лампочки на их касках освещали пространство между правой гусеницей и бортом выработки. Мишин отодвинул кого-то и тоже остановился, не в силах отвести взгляда от этого пространства. Там лежал на спине Баранкин. Мишин, как ни старался, не мог разглядеть его лица. Надо было подойти поближе, но ноги словно приросли к месту, словно резиновые сапоги вдруг превратились в свинцовые.

Мишина поразило не то, как лежит Баранкин, и что он вообще лежит. Он даже не сразу сообразил, что его так поразило. Лишь мгновение спустя он понял, в чем дело. Левая нога Баранкина лежала в стороне от него. Лучи ламп отчетливо освещали ногу и то место, где она должна была быть. Эти лучи, казалось, упрямо усталились в обнаженную рану, почерневшую от угольной пыли.

Мишин ощутил тошноту, подступившую к горлу, с усилием отвернулся, отрывисто выдавил из себя:

— Сходите... кто-нибудь... за носилками.

II.

«Согласно судебно-медицинскому исследованию трупа установлено, что смерть Баранкина наступила от острой кровопотери и шока, вызванных размятием мышц поясницы с повреждением крупных сосудов и отрывом конечности.

Указанные выше повреждения могли образоваться при падении

Баранкина во вращающийся механизм, каковым мог быть рабочий орган (фреза) комбайна».

Из заключения судебно-медицинского эксперта.

Пока тело Баранкина укладывали на носилки, Мишин сидел на второй гусенице, не на той, возле которой лежал Баранкин, а с другой стороны комбайна. Опершись локтями на колени расставленных ног, он туло уставился в ломкий от неровностей на стенке забоя круг, высвеченный укрепленной на каске лампой. Тошнота не проходила. Порой горло сжимали спазмы, и тогда Мишин горбился еще больше, судорожно открывая и закрывая рот.

Он понимал, что смерть Баранкина ничуть не могла задеть его физически. Не могла смять, уничтожить, опрокинуть в небытие. Но в его сознание, во все его существо немедленно ворвалась ледяная волна страха. Ее ни отогнать, ни отодвинуться от нее самому.

Он, конечно, не раз видел похороны на улицах. Медленно, в скорбном молчании шли люди, несли гроб. От всего этого можно было отвернуться, уйти, наконец, в сторону. Тот, кто лежит в гробу, — ни сват, ни брат, и лишь какое-то время в памяти будут отдаваться печальные ритмы траурного марша. Потом и это пройдет.

Здесь другое...

Мишин помнил, как умер отец. Он долгое время не жил с ними, разойдясь с матерью, потом вернулся откуда-то с Дальнего Востока, больной и постаревший. Мать не обрадовалась ему, но не прогнала. Все в ней перегорело, осталась лишь жалость к этому человеку, принесшему столько горя, но все-таки к человеку, которого она когда-то любила. Она, видимо, не задумывалась о том, прощать или не прощать его, потому что видела, как ему плохо и что если она его прогонит, ему станет еще хуже.

Наверное, наедине, без сына, они как-нибудь и объяснились, но он этого не знал. Скорее всего мать решила, что отец и так наказан судьбой неудачами, которые его заставили вернуться к ней, к сыну, и что прошлого теперь не вернешь и незачем его ворошить.

Мишин доучивался в десятом классе. Он с укором думал об отце, считал его чуть ли не чужим для себя. Он был вежлив с ним, мучительно предупредителен. Видел, как страдал от этого отец, но продолжал свое, даже наслаждаясь избранной ролью.

Однажды по дороге с работы домой у отца схватило сердце. Кондуктор трамвая, в котором он ехал, вызвала машину скорой помощи. Об этом Мишин узнал, когда вместе с матерью пришел в больницу. Отец назвал номер телефона соседей, кто-то из врачей позвонил...

Мишин увидел его живым в последний раз на кушетке, застланной простыней. С него сняли рубашку и майку, а брюки оставили. Под голову — две тощие больничные подушки. Лицо отца заострилось, осунулось, щеки посинели и запали. Ему уже сделали уколы. Он теребил пальцами рук пряжку расстегнутого ремня, растерянно и виновато косил глазами на него и на мать, устроившихся сбоку на табуретах.

Прерывисто, превозмогая одышку, сказал:

— Это ничего, это пройдет... Завтра я уж... на работу...

И вдруг жалобно ойкнул, дернулся всем телом. Мать вскочила, стремительно бросилась в коридор, прижала к глазам платок. Вслед за ней выбежал из палаты и он, Мишин. Страх, который обволакивал его сейчас, был и тогда. Он стоял возле матери, держался за ее локоть и не мог совладать с тяжелым чувством.

Мать сказала:

— Иди к нему, — и, оторвав платок от покрасневших глаз, посмотрела на дверь, за которой хлопотали врачи.

Мишин упрямо ответил:

— Я не пойду!

А про себя подумал, что она ведь тоже не идет. Значит, не хочет, боится. Боится так же, как и он.

...Мишин понятия не имел, сколько времени он просидел на гусенице. Из этого состояния его вывел приход начальника участка и заместителя главного инженера шахты. Обоих поднял с постелей звонок дежурного. Дежурный же выслал им машину, потому что в расписании электричек как раз был перерыв.

Черноглазов — так звали начальника участка — тронул Мишина за плечо:

— Ну, чего ты?!

Мишин с усилием заставил себя подняться и, повернувшись к нему, развел руками... Черноглазов стоял прямо, твердо расставив ноги. На лице, украшенном кокетливыми бакенбардами, блестели капельки пота — от быстрой ходьбы. За его спиной отдувался плотный, с брюшком, слегка оттягивающим куртку спецовки, заместитель главного инженера Мотковский.

— Ну, что же его затолкало под фрезу? — спросил Черноглазов, нажимая на «ну».

Этот вопрос окончательно привел Мишина в себя. Он вдруг понял, что у него нет готового ответа, он не знает, как и что произошло, даже не может высказать никакого предположения. Кроме Баранкина, в забое никого не было. Во всяком случае, когда Мишин уходил из забоя часа три или четыре тому назад, Баранкин оставался здесь один.

И все-таки ответ или предположение, достаточно логичное и аргументированное, у него должны быть. Его будут спрашивать члены специальной комиссии, которая неминуемо соберется для расследования. Все это дойдет до прокурора, и он его тоже будет спрашивать.

Мишин с надеждой посмотрел на Черноглазова:

— Не знаю.

Он был рад приходу этих людей, лишь теперь обнаружив, что с носилками ушли все, кого он застал возле комбайна. Черноглазов и Мотковский были опытнее его, решительнее и, если захотят, помогут найти ту единственную нить, за которую он должен держаться.

— Не будем терять время, — сказал Мотковский. — Надо все хорошенько осмотреть!

Мотковский работал на шахте с первого дня сдачи ее в эксплуата-

цию. Был здесь главным инженером, но потом, как говорится, не потянул, перешел в заместители. Сказались и возраст, и ранения, полученные в годы войны, которую он прошел от командира артиллерийской батареи до начальника штаба артиллерийского полка.

Двадцать лет горняцкого стажа давно уже давали ему право уйти на пенсию. Однако не подошел возраст. До положенных лет ему оставалось еще около года. И он работал, не считаясь со временем, порою проклиная свою беспокойную должность, оказываясь в роли человека, на которого валятся все шишки за травмы и нарушения техники безопасности.

Может, и на этой должности он тянет не так, как надо. Но за всем не уследишь, под каждого соломку не подстелешь. Шахта с необычной технологией. Уголь добывается комбайнами, механизированными комплексами, гидромониторами и на-гора смывается водой по желобам. Вода подается к забоям по металлическим трубам, под давлением. Тут смотри да смотри. Вода — стихия. Ее нужно держать в узде. Сколько из-за нее было неприятностей!

Мотковский протиснулся к фрезе, снял с каски лампу, поводил лучом по зубкам фрезы. На них остались следы крови, кое-где окровавленные клочки спецовки. Он перевел луч под правую гусеницу — туда, куда отбросило фрезой Баранкина. Переступая по гусенице, к нему, пригнувшись, чтобы не удариться о кровлю, подошел Черноглазов. Он тоже снял лампу с каски и водил ею вслед за лучом лампы Мотковского. Снова водили лампами вокруг себя, теперь уже в три руки, потому что к ним присоединился и Мишин.

Мотковский спрашивал себя: «Что же могло случиться?» Баранкина он не знал. Наверное, видел когда-нибудь мельком, но разве всех упомнишь, если на шахте почти две тысячи рабочих. Но человек есть человек. А знал или не знал, здоровался с ним при его жизни или молча проходил мимо, не отличая от других, — все это дело десятое. Не война же, чтобы люди вот так неожиданно и просто умирали!

О том, как Баранкин мог угодить под фрезу, спрашивал себя и Черноглазов. Баранкин не один год работал на его участке. Черноглазов иногда выговаривал ему и за то, и за это, посмеиваясь над неуклюжестью широкого в кости, обросшего жирком человека с невозмутимым лицом, делающего свое дело с равнодушной обстоятельностью.

Теперь Баранкина нет. У него осталась семья — жена, дети. Они еще спят, ничего не знают. А горе вошло уже в их дом и никуда не уйдет.

Черноглазов предполагал, что гибель Баранкина будет и ему стоить порядочной нервотрепки, но, пожалуй, больше достанется Мишину. Все-таки его смена.

Между тем, Мотковский перевел луч к кровле, туда, где подвешиваются трубы, по которым подавалась вода к комбайну. Вслед за ним подняли свои лампы Черноглазов и Мишин. И вот три луча, сойдясь, ударились в трубу, направленную будто ствол пушки, к комбайну. Вторая труба, с которой она должна соединяться, тоже чуть стронулась с места, но держалась на подвесках, видимо, крепко.

Из трубы сейчас не хлестала вода. Ее перекрыли. Мотковский прикинул расстояние до комбайна, до того места, где должен был стоять у рукоятки Баранкин. Каких-нибудь пять-шесть метров. На мгновение представил: слепо и безжалостно ударила в спину тяжелая струя воды... Баранкина сшибло, отбросило вперед. И тут фреза...

— Так, пожалуй, и было, — произнес Мотковский. Голос его глухо отдался в тишине забоя. И хотя Мотковский не объяснил, как было, Черноглазов и Мишин все поняли. Черноглазов выругался. А Мотковский вдруг спохватился:

— Постойте, а где же бэрээс?

Не сговариваясь, они опустили лампы вниз, к стенке забоя. БРС — быстроразъемное соединение — металлический обод из двух половинок, соединенных шарниром с одной стороны, и зашплинтованным клином с другой — лежал здесь же, под трубой, нацелившейся на комбайн. Одна половина обода была переломлена надвое.

Мотковский проворно нагнулся, подхватил обод, прищурившись, покрутил его в полусогнутой руке. На концах обломившихся половинок были видны следы электросварки. Когда-то соединение уже ломалось. Его не выбросили в металлолом, заварили. Ободом соединяли концы труб. Без сварки соединение могло выдержать давление, а тут подвело... Мотковский круто повернулся к Мишину, к самому его лицу поднес обод.

— Вы знали про этот хлам?

Мишин почувствовал, как та, давешняя тяжесть снова навалилась на него. Еще он ощутил тоску и холод, возникший где-то возле сердца.

— Знал, — вяло ответил он.

III.

ВОПРОС. Товарищ Жаров, что вы увидели в забое, когда вошли туда?

ОТВЕТ. Вместе с горнорабочим Крутилиным мы пришли с деталями крепи. Еще подходя к забою, услышали шум воды, а также по звуку определили, что комбайн работает вхолостую. Крутилин побежал к задвижке, чтобы перекрыть воду, а я бросился к комбайну и выключил его.

ВОПРОС. Выключили комбайн, когда вода еще не была перекрыта?

ОТВЕТ. Да.

ВОПРОС. Следовательно, напор воды был такой, что не мог травмировать?

ОТВЕТ. Да, не мог. Когда я подбежал к рукоятке комбайна, меня ударило струей, но не сильно.

ВОПРОС. Как вы обнаружили тело Баранкина?

ОТВЕТ. Сначала я подумал, что Баранкин отлучился, но когда вернулся Крутилин, мы заглянули в головную часть комбайна. Баранкин полужелал, привалившись к борту выработки. Мы стали его оттаскивать и увидели, что нет ноги. Потом Крутилин увидел ногу.

ВОПРОС. Находясь в забое, вы видели БРС?

ОТВЕТ. Нет, не видел. Может, БРС и лежало там, но мы не заметили. Не до того было.

ВОПРОС. Как по-вашему, куда исчезло соединение?

ОТВЕТ. Не знаю.

ВОПРОС. Могло ли БРС смыть водой в желобок?

ОТВЕТ. По-моему, нет.

Из протокола опроса горнорабочего Жарова комиссией по расследованию несчастного случая.

Второе, самое болезненное переживание для Мотковского в этот день — встреча с женой Баранкина. Он приехал на квартиру погибшего машиниста комбайна вместе с Черноглазовым. Мгновенье постоял перед дверью, прислушался к тишине за нею и нажал на кнопку звонка. Дверь тонкая, стандартная, какие теперь обычно в многоэтажных домах.

Они услышали, как зазвенел звонок, а когда Мотковский убрал палец с кнопки, из-за двери тотчас же донеслось шарканье ног. Низкий женский голос спросил:

— Коля, ты?

— Нет, это я, Мотковский, заместитель главного инженера.

Щелкнула задвижка, и Мотковский толкнул дверь. Жена Баранкина, одетая в пестрый халатик, с растрепанными после сна волосами, удивленно смотрела на них, не отступив, чтобы пропустить в узкий темноватый коридор. В ее глазах вспыхнул испуг, и Мотковский, сделав движение к ней, проговорил:

— Разрешите!

Баранкина спохватилась, посторонившись, пропустила их в коридор. Она сразу же почувствовала, что случилось неладное. Так просто эти двое, которых она знала понаслышке, из скупых рассказов мужа, не приехали бы в такую рань.

Сама она работала воспитательницей в детском саду. Малыши от трех до пяти лет, шумные и бестолковые, подчинялись порядку, которому она же их и научила. Баранкина привыкла к своему садику, к своим обязанностям и, хотя порой уставала и дома поругивала Миш, Ванюш и Танюш, досаждавших ей в течение дня, любила и малышей, и свою работу.

Она лишь в самых общих чертах представляла, что и как делает под землей муж. Ее часто донимала тревога. От мужа, от его друзей, от жен этих друзей она слышала, что в шахте бывает всякое.

— Ой, беда навалилась на Марину, — рассказывала ей однажды знакомая, муж которой работал в одной бригаде с Баранкиным. — Ее Петька сломал в шахте ногу. Полуаркой придавило.

Обе они не знали, что такое полуарка. Но, подражая мужьям, говорили о ней так же, как говорят они. Будто видели ее каждый день, общупали со всех сторон, как любую из кострюль в собственных кухнях. И обе втайне радовались, что ногу сломал Петька, которого Баранкина и в глаза не видела, а не кто-нибудь из их мужей. И в то же время думали, что подобная беда может нагрянуть и к ним.

Баранкин приходил домой усталый, но всегда безмятежный. На какое-то время у нее появлялась уверенность, что с ним ничего не случится, хотя затем снова одолевало беспокойство. Баранкин хорошо зарабатывал, и ей было бы жаль, если бы он бросил работу, обеспечивающую семье достаток. А случаи — что ж, они ведь не так уж часты, и к тому же вон сколько людей работает в шахте!

Но теперь, разглядывая Мотковского и Черноглазова, она не знала, что и подумать. Муж должен прийти позже, а они приехали раньше. Почему, что произошло?! Собралась с духом и спросила:

— Коля?.. Где Коля?

Баранкина плотнее запахнула полы халатика, прижала к груди ладони.

Мотковский выжидательно посмотрел на нее, думая, что нельзя же объясняться прямо здесь, в этом темном коридоре. Он поймал себя на том, что старается оттянуть время и подумал, что это совершенно бесполезно и надо взять себя в руки.

Баранкина поняла его взгляд, повела их в комнату, на ходу стараясь собрать волосы. Поспешно завернула постель, которой был застлан диван-кровать. Мотковский и Черноглазов сели на освободившийся его край, а Баранкина осталась стоять перед ними в своем халатике и тапках на босу ногу.

— Вы только не расстраивайтесь, — начал Мотковский с фразы, пришедшей в голову первой и совершенно не к месту. — Понимаете...

Он вдруг вспомнил, что даже не знает имени Баранкиной, и от этого смешался.

На помощь пришел Черноглазов.

— Дело такое... совсем плохо, — начал он и тут же умолк. Зачем-то посмотрел на часы, подняв левую руку и отвернув рукав.

Баранкина вскрикнула. Ее глаза неестественно округлились.

— Коля? Что с Колей?

— Да вы не расстраивайтесь, — снова не к месту, повысив голос, сказал Мотковский. И вдруг решил, что ни к чему тянуть, надо набраться храбрости, а там что будет, то и пусть будет. Рубанул правой рукой воздух: — А чего уж там, несчастье в шахте!

Баранкина мгновение смотрела на него, словно не понимая, что это он такое говорит, потом губы ее зашевелились. Она силилась что-то произнести, но не могла. И вдруг закричала — пронзительно, с такой глубокой дикой тоской, что Мотковский вскочил с дивана.

Баранкина медленно оседала на пол, вцепившись руками в волосы. Черноглазов бросился на кухню за водой, а Мотковский подхватил Баранкину и, не ощущая тяжести ее тела, приподнял и положил на диван. Он все думал, что не сумел сказать, что зря он поторопился и эта его неловкость только все ухудшила. Он проклинал себя за то, что поехал, словно кроме него никто не мог поехать другой, проклинал эту дьявольскую ночь, за которую незнакомая ему женщина стала вдовой, а двух девчушек, мгновенно проснувшихся и стремительно выбежавших в ночных рубашонках из смежной комнаты, сиротами. Мотковский запомнил стылый ужас в их глазах, наивные короткие косички, почти

торчком стоявшие за ушами. Они бросились к Баранкиной, отталкивая друг друга, затеребили ее:

— Мама, мамочка...

Баранкиных оставили на соседей, которых позвал все тот же расторопный Черноглазов, а сами вернулись на шахту. Мотковский неуклюже вылез из машины. Он устал, шел грузно, шаркая ногами.

Перед дверями кабинета их ожидал Мишин. Он успел помыться, переодеться — безукоризненно белая рубашка, пестрый галстук с большим узлом, полы двубортного пиджака распахнуты. Увидев Мотковского и Черноглазова, он чуть ли не бегом бросился к ним. Растерянно улыбался. Кивнул в сторону кабинета:

— Комиссия... все собрались, — помолчал и добавил, — боюсь я...

Капельки пота на верхней губе, руки все время в движении — бесполом и торопливом.

Черноглазов придвинулся к нему:

— Будь мужчиной!

А Мотковский сказал, строго посмотрев на Мишина:

— Не валяйте дурака, не вы же убили! — обошел его и направился к двери.

IV

«Комиссия предположительно считает, что причиной несчастного случая послужило:

1. От удара воды в спину в результате внезапного рассоединения труб Баранкин растерялся.

2. Давление воды было не настолько высоким, чтобы отбросить его на рабочий орган комбайна.

3. Пытаясь укрыться от водяной струи, Баранкин, не выключив комбайн, случайно попал под фрезу.

Из заключения комиссии по расследованию несчастного случая».

Под землей — не то, что на земле. Труд горняка чем-то сходен с трудом моряка. Может быть, потому что и там и здесь человеку приходится преодолевать суровое противодействие матушки-природы, которая не любит беспечности и за непочтительное отношение к себе крепко наказывает.

Для того и изданы целые тома правил по технике безопасности. Коротко и сухо в них излагается, что можно, а чего нельзя делать, работая в шахте, что допустимо, а что совершенно недопустимо. За каждым, казалось бы, казенным словом правила, параграфа, составленного на основании многолетнего опыта, одно, совершенно человеческое — будьте осторожны, берегите себя!

Обязанность Мотковского в том и заключалась, чтобы бороться с беспечностью, «проталкивать» параграфы и правила, следить за тем, чтобы они не нарушались. Он многое делал, ввел немало нового в кон-

троль за техникой безопасности, стараясь повысить ответственность каждого горняка. Бывало, спорил, ругался, был въедливым до печенок.

Он понимал, что его интересы несколько иные, чем интересы того же Черноглазова или любого из начальников участков. С них прежде всего требуют уголь, выполнение плана. Директор шахты, — молодой, горячий, — сводя у переносицы густые черные брови, хлопал увесистой ладонью по полированной поверхности стола в своем кабинете, требовал от начальников участков:

— Ночуйте на шахте, но план должен быть...

В просторном кабинете, одна из стен которого была заставлена книжными шкафами с сотней книг, не заполнивших и пару полок, о технике безопасности говорили, как правило, вскользь. Во вторую очередь. Иногда разгорались и настоящие схватки — если уровень травматизма повышался или происходило нечто трагическое, подобное тому, что произошло сейчас. А потом все затихало. До следующего раза. Понималось, что, заботясь о плане, не нужно забывать и о безопасности. Конечно, основные правила выполнялись, и все-таки чаще надеялись: авось, пронесет! Иногда действительно «проносило».

Мотковский знал, что любой из начальников участков, да и сам директор, в минуту откровенности мог сказать:

— В шахте да без травм?!

Неделю тому назад Мотковский сидел на совещании у директора. Совещание затянулось. Обсуждались мероприятия по вскрытию нового угольного пласта. Директор говорил длинно, влезая в каждую подробность. А о технике безопасности — в общем и целом: «Вы, товарищ Мотковский, должны подумать, предусмотреть...».

Мотковский разглядывал ту полку, на которой оказалось книг больше. Рядышком стояли в знакомых переплетах правила. Усмехаясь про себя, вспомнил какого-то щедринского литературного героя, кажется, судью. Судья запомнился фразой: «Ух, сколько у нас законов. Спаси и помилуй, много!».

Мотковский набил себе немало шишек. В феврале пачкой угля, отвалившейся с кровли, был убит крепильщик, — молодой парень, не успевший отслужить в армии. Не успевший ничего сделать в жизни толкового, даже, может быть, полюбить.

Тогда шахту склоняли на бюро райкома партии. За рост травматизма. Мотковский отчитывался. Весь разговор крутился вокруг гибели парня. Мотковский рассказал, сколько нарушителей техники безопасности было наказано, что сделано, что делается. Если говорить откровенно, он не был виноват в том, что погиб крепильщик. Начальник участка «гнал» план, проглядел, что кровля крепилась ненадежно. Его сняли с работы, а ему, Мотковскому, написали выговор. За неудовлетворительную организацию техники безопасности.

Где эта мерка: от удовлетворительного до неудовлетворительного? Необъятное не обоймешь. Мотковский постоянно ощущал, что тянет тяжкий воз, по существу, один. Ему подкладывают и подкладывают груз, да еще покрикивают: наддай! А на бюро намекнули: «Если положение не выправится...»

Из райкома Мотковский вышел подавленным. И повторял про себя: «Как они меня, как они...». Секретарь по промышленности так и сыпал, так и сыпал словами. Неужели он не понимал, что глупо делать козлом отпущения его, Мотковского. Правильно, есть за что ругать. Это «за что» можно найти всегда почти у каждого. А тут вышло так, будто он — один. О начальнике участка он как-то не думал. Так был зол, обижен за себя.

В постановлении написали: «Потребовать от парткома, дирекции наметить мероприятия по улучшению безопасности условий труда». Секретарь парткома Огнивцев выступил, а в защиту — ни слова. Ни за, ни против. Что это, готовят почву, хотят выставить за дверь?!

И еще лезло в голову черт знает что. И над всем этим, сначала слабо, едва заметно, потом сильнее, не то оправдывая, не то коря, мысль: «Старею!».

Эта мысль о том, что он стареет, давно жила в нем. Мотковский не мог сказать точно, когда это произошло, но она была, и чем дальше, тем больше он ощущал ее присутствие. Сначала хитрил сам с собой, старался загнать ее на самое доньшко, но она и там шевелилась, постоянно стремясь подобраться поближе, кольнуть, прижать к стенке.

Она давала о себе знать и быстрее, чем год или два тому назад наступающей усталостью, и легкими болями в левом боку, и вдруг охватывающим его безразличием к тому, что раньше волновало, будоражило кровь.

Потом это проходило, чтобы через некоторое время повториться снова.

В кабинете Мотковского ждали. Навстречу поднялся заместитель главного инженера треста Сорокин. Сжал и энергично потряс руку. Обязанности у него одинаковые с Мотковским. Та же техника безопасности, только помноженная на количество шахт, которые объединял трест. Сорокин отлично понимал трудности Мотковского, знал и его промахи, и самого его, и обстановку на шахте, схожую с той, в которой оказывался сам. Случалось, вызывал Мотковского к себе в кабинет для острых объяснений. Однако никогда не пытался говорить лишнего, входил и в его положение, не делая, впрочем, никаких скидок.

— Как Баранкина?

Мотковский неопределенно пожал плечами. Что толковать?! И так все ясно.

Горный инспектор Голованов, чуть сгорбленный, лет шестидесяти, сунул ему расслабленную ладонь и тут же отобрал ее. За ним закрепилась слава педанта, придиры, любителя порассуждать. При этом он старался придать своим словам особую весомость, будто раскладывая их по ему лишь одному видимым полочкам, после чего делал вывод, добравшись к нему сквозь обилие рассуждений.

Он так и говорил:

— Рассматривая вопрос логически...

Трестовские острословы подхватили фразу, которую он, может быть, уже и не замечал, безотчетно произнося ее. Если требовалось кого-то высмеять, ехидничали: «Рассматривая вопрос логически...».

Мотковский догадывался, что «за скрипучестью», «железными» выводами, в общем-то всегда справедливыми, скрывается добрая и беспомощная душа, может быть, даже слишком добрая и мягкая, и эта оболочка педанта служит Голованову защитой, помогает ему восполнить недостающую твердость характера.

Третьим или, вернее, четвертым после Мотковского членом комиссии, потому что Мотковского тоже включили в нее, так полагалось, был инспектор территориального комитета профсоюза угольщиков Маркин. Он всех моложе, розовощекий, тщательно выбритый. А светло-каштановую густую шевелюру от лба до макушки пробороzdила широкая полоса седины. Она ничуть не старила Маркина, наоборот, выигрышно дополняла его внешность, выделяя его ненавязчиво и как-то необыкновенно кстати.

Все трое — и Сорокин, и Голованов, и Маркин — привыкли друг к другу. Они были чуть ли не штатными членами комиссии по расследованию травм и других несчастных случаев, связанных с нарушениями техники безопасности.

— Начнем? — вопросительно посмотрел на всех Сорокин.

Он занял стол Мотковского, а Мотковскому пришлось устроиться за вторым столом, вплотную придвинутым к первому. Голованов и Маркин уселись на диван, стоявший сбоку от Мотковского, возле стены.

— Кстати, — вдруг спросил Сорокин, — ты видел бэрээс?

Мотковский пристально посмотрел на него, упитанные щеки слегка порозовели.

— Видел, возле комбайна валялось.

— А после тебя куда-то исчезло.

Мотковский сделал удивленное лицо и лишь произнес:

— Да?!

Первым, кого они опросили, был Жаров. Мотковский аккуратно записывал все вопросы, которые задавали Жарову, и ответы на них. А когда Жаров сказал, что давление воды было неопасным, поднял голову, уставился на него, потрогал пальцами очки в черной оправе и подозрительно переспросил:

— Вы ничего не путаете?

Жаров вцепился руками в сиденье стула, часто поводил языком по губам. Они пересыхали от волнения. Он старался отвечать обстоятельно и четко. Взгляд серых глаз с неотмытыми от угольной пыли веками был открытым.

— Он прав, — проговорил Голованов, — я уже наводил справки.

Сорокин тоже согласно кивнул головой, и Мотковский поспешил записать ответ Жарова в протокол. Вслед за Жаровым место на стуле занял Мишин. Мотковский кивнул ему, как бы подав знак, чтобы он держался поувереннее, и что все будет в порядке.

Рассказав, как было: и то, как он осмотрел забой и механизмы, и как оставил Баранкина в начале смены, а потом узнал о его гибели по телефону от дежурного и прибежал в забой, он умолк. Торопливо затолкал правую руку в карман брюк, вытащил скомканный носовой платок и вытер с лица пот. Добавил:

— Жалко человека, глупо погиб!

Сорокин смотрел на него пристально, с любопытством. Сложил на столе большие руки, двумя пальцами правой отбивал дробь по пальцам левой, сжатой в кулак.

Он умел разбираться в людях, и без труда определил, что Мишин сейчас не в своей тарелке, что ему не просто жаль Баранкина. Его гнетет нечто другое, и это другое Сорокин немедленно связал с исчезновением БРС. Он мог также предположить, что Мишин боится, как бы его не обвинили в плохом соединении труб. Ведь ясно: раз вода, идущая с пониженным напором, разорвала соединение, значит, оно было ненадежным. Либо БРС поставили не так, либо оно никуда не годилось. В любом случае тут надо спрашивать с горного мастера. И неспроста он сидит сейчас, исходя потом. Мишин знает, куда и как исчезло соединение, только не хочет об этом сказать, старается увильнуть.

— Значит, вы утверждаете, что в забое не было условий для смертельной травмы? — спросил он Мишина.

— Да, — ответил тот.

И вдруг неожиданно:

— А где же все-таки соединение?

Мишин заерзал на стуле, снова полез за платком, еще более торопливо сказал:

— Кто его знает... Может, водой смыло.

— А, может, украли? — медленно и в тон ему произнес Голованов. Откинулся на спинку дивана, подняв лицо, на котором застыла усмешка.

Мишин перевел дух:

— Не знаю, я сильно растерялся, не обратил внимания...

V

Черноглазов держался перед членами комиссии уверенно, переводил взгляд с одного на другого. Не торопясь, отвечал на вопросы.

Не добившись от него ничего нового, Сорокин сухо сказал:

— Можете идти. Работайте...

Черноглазов кивнул ему, покосился на Голованова, в глазах его вспыхнул насмешливый огонек, круто повернулся и вышел.

«Тоже мне, шерлоки холмсы», — выругался. Голованова он встречал впервые. За те полчаса, которые Черноглазов пробыл в кабинете, он проникся к нему неприязнью, смешанной с презрением. Голованов и спрашивал, и говорил — так по крайней мере показалось Черноглазову — больше других. Ехидный старик, дайся ему — заест!

Между тем, проводив взглядом Черноглазова, Голованов сморщил лоб, отчего лицо его приняло еще более старческий вид, проговорил:

— Рассматривая вопрос логически, мы твердо знаем обстоятельства гибели Баранкина. Что касается соединения, так не гадать же на кофейной гуще!

— Да, да,— приглаживая шевелюру с седой полосой, поддержал его Маркин.— Соединения у нас нет. Нам его не найти, вот если прокурор захочет...

— Меня удивляет, что соединение как сквозь землю провалилось. Никто ничего не знает,— Сорокин встал, прошелся от стола к двери и обратно, чуть склонив голову набок, повернулся к Мотковскому: — Вы осматривали его, оно было в порядке?

Мотковский принялся собирать листы исписанной бумаги стопкой, сколачивая их. Он нарочито замедлял движения, стараясь ничем не выдать себя.

— В порядке,— ответил он.

Сорокин сам написал заключение и первым расписался под ним. За ним поставили свои подписи Голованов, Маркин и последним — Мотковский. В заключении все основывалось на том, что Баранкина загнал под фрезу испуг. Трусость никогда не была добродетелью и, как правило, в беде оборачивается против того, кто ее проявил. Так же, как мужество, самообладание она, что называется, от бога. И если нет в человеке мужества, а самообладание покидает его в самый неподходящий момент, тут ничего не поделаешь.

Через несколько дней пришел приказ управляющего трестом. Мишина сняли с работы. Проект приказа писал Сорокин. Он не забыл ни того впечатления, которое произвел на него Мишин, ни рассоединившихся труб. Мотковский и Черноглазов получили по выговору.

Прочитав приказ, Мотковский печально усмехнулся:

— Пронесло!

Он готов был немедленно подшить приказ в распухшую от бумаг папку и затолкать ее в самый дальний ящик стола. Однако его не оставляло беспокойство. В душе, где-то в самой ее глубине, отложилась горечь, и он не мог с ней справиться, отогнать ее, сделать так, чтобы она не давала о себе знать.

Черноглазов, наоборот, успокоился, и через несколько дней события, связанные с гибелью Баранкина, отодвинулись для него на второй план. Еще немного, и он бы вообще забыл об этом, как вдруг Мишин, оставшийся на участке после приказа электрослесарем, сказал:

— Меня вызывают в партком.

Черноглазов внимательно посмотрел на него и спросил, начиная фразу со своего обычного «ну»:

— Ну и что?!

— Наверное, опять эта история. С Баранкиным...

Черноглазов, привыкший к Мишину, знавший его не первый год, без труда различил в нем снова возникшую неуверенность, ту самую дрожь зайца, слышавшего отдаленное тявканье гончих. Но решил, что Мишин есть Мишин, какой он есть, таким и останется.

Он не подозревал, что с вызовом Мишина в партком история с Баранкиным начнет раскручиваться заново, и совсем не так, как в первый раз.

Мишин был из тех людей, о которых принято говорить, что они как все. В неопределенности этого понятия, в его неуловимости, в невозмо-

жности ограничить какими-то рамками, и заключен самый главный порок.

Еще в десятом классе Мишин вдруг решил писать стихи. На первое стихотворение ему потребовался ровно час. Оно было о том, как хорошо, что ты уже взрослый, и о том, что скоро со школой будет покончено, и тогда...

Что «тогда», Мишин еще отчетливо себе не представлял. Ребята-одноклассники собирались поступать в институты. Один — в авиастроительный, другой — в металлургический, третий еще в какой-то. А Мишин для себя пока ничего не выбрал.

На следующее утро он шел в школу и на память, про себя, читал это свое стихотворение, дивясь тому, как у него здорово вышло.

Отыскал редактора стенной газеты — вихрастого, голубоглазого парня, школьную знаменитость. Нескольким его стихов были напечатаны в молодежной газете. Свои стихи он читал на литературных вечерах. Девочки на него смотрели с обожанием, а он, казалось, даже тяготился этим, часто краснел, причем уши в это время у него делались до невозможности пунцовыми. А Мишину, немного поразмыслив, чуть покусывая губу, неожиданно твердо сказал:

— Знаешь, старик, не совсем то — рифмовать козу с барабаном.

В стихотворении не было ни козы, на барабана, но Мишин понял, что оно не понравилось. Выдернул тетрадный листок из рук парня:

— Много ты понимаешь!

Стихи он писал еще долго, но больше никому не показывал. Они оставались в толстой тетради в клеенчатом переплете. А парня возненавидел и в то же время стал отчаянно, почти болезненно завидовать ему. За то, что он лучше учился, был «знаменитостью», а он, Мишин, оставался в неизвестности.

Позднее он так же завидовал Черноглазову. Его умению держать себя, покорять своей волей людей, заставлять их делать так, как ему нужно, завидовал, наконец, заработку, в полтора раза превышающему заработок горного мастера, даже бакенбардам, подчеркивающим бледность кожи на лице, твердую складку над ртом и мужественные линии подбородка.

Таким был Мишин.

Его смена считалась одной из лучших. Она почти всегда перевыполняла план. Сам Мишин упростил металлическую крепь. Это было смелой инженерной находкой. Крепь не утратила надежности, зато стала почти вдвое дешевле.

Случалось, что кто-то из рабочих совершал проступок. Мишин обрушивался на него со всей силой. Находил едкие, обидные слова, выливал их на голову бедолаги обильно, не скупясь, почти глумился над ним, словно мстя за все свои прошлые и теперешние обиды — и за козу с барабаном, и за то, что не мог быть таким, как Черноглазов, и его превосходство над ним было непреодолимым.

И это тоже был Мишин.

Он все-таки прилично зарабатывал. Квартира была обставлена дорогой мебелью, полы застланы коврами — не хуже, чем у людей! А

Мишин мечтал о «волге». Он видел себя за рулем черной шикарной машины, мчащейся по широкой улице. «Волга» была всем: чудесным сном, недалекой явью, венцом всего, чего он желал, вспоминая свое полусиротское детство, печальное старание матери дотянуть «от полочки до полочки», ее постоянную заботу о единственном костюме сына, который она почти каждый вечер утюжила и штопала.

Но наскрести денег на машину было все-таки трудновато. И вдруг — удача. Мишину предложили поехать на два года в командировку за границу, на угольные копи. Мишин с радостью согласился. Партком дал ему рекомендацию. В министерство были отправлены необходимые документы. Предстоящая поездка увлекла Мишина, у него все замирало внутри, когда он думал о встрече с чужой, загадочной страной. Вместе с женой подсчитывал, сколько накопится денег после двух лет. Выходило, что их хватит не только на «волгу».

И когда там, в забое, Мотковский поднял сломанное БРС, когда спросил, знал ли он об этом хламе, и в его голосе прозвучала угроза, Мишин понял, что никуда не поедет, его попросту теперь не пустят в командировку, а значит, нарушатся все его планы.

Показалось, что Мотковский размахнется и ударит увесистой железкой. Мишин поспешно отступил, обессиленно присел на корточки.

Черноглазову тоже почудилось, что Мотковский не сдержится, выкинет что-нибудь не то, чего доброго, на самом деле пустит в ход руки. Он торопливо тронул его за плечо:

— Не надо, Александр Федосеевич!

Мотковский отбросил в сторону соединение. Он не был злым человеком. Наоборот, был не злопамятен, отходчив. Минуту сосредоточенно молчал, чтобы успокоиться, и уже мягче проговорил:

— Плохи дела, ребята!

Тогда еще никто из них не знал, что вода шла в забой с низким напором. Мотковский лишь предположил, что этот напор был высоким. И соединение было главным доказательством того, как все произошло.

В отличие от Мишина, Мотковский не был трусом. Теперь с него спросят еще крепче, чем в прошлый раз. Вспомнился горячий секретарь райкома, почти мальчишка, годный ему в сыновья: «Если положение не выправится...» Проклятое БРС, оно может доканать. Перед уходом на пенсию. Обидно!

И Черноглазов думал, что ему тоже не сдобровать. Как было хорошо: участок перевыполнял план, получал премии и на вот! Если бы обыкновенная травма, не смертельная?! А теперь... Теперь, пожалуй, нужно поставить крест и на настоящем и на будущем. Во всяком случае, на ближайшем будущем. Смерть Баранкина будет ходить за ним по пятам.

Черноглазов зло посмотрел на Мишина. Тот сидел неподвижно, прислонившись к борту забоя. Лампа, отгороженная от глаз козырьком каски, тускло освещала лицо. Черноглазову показалось, что по щекам Мишина ползут слезы. «Нашел время хныкать», — с презрением подумал он.

Мишин действительно плакал. Тихо, безропотно, потая слезы.

Вслед за тем, что он теряет «волгу», что ему надо так неожиданно расстаться с мечтой о поездке за границу, с мечтой, которая еще вчера была близкой, волнующей своей реальностью, перед ним пугающе четко встало и другое: его могут судить, он угодит в тюрьму.

И тогда «волга» и командировка мгновенно потеряли для него всякое значение. Вместо них его сознанием овладела опасность, угрожающая ему, ставшая такой же реальностью, как недавняя мечта о «волге». Он словно шел, шел и вдруг увидел перед собой бездну. Еще шаг, еще толчок в спину — и он полетит вниз.

Этот остро осознанный трагизм положения, в котором он оказался, заставил его вскочить так стремительно, словно под ним сработала пружина.

— Меня же посадят, Александр Федосеевич! — с тоской воскликнул Мишин.

Мотковский вздрогнул. Он тоже думал о том, что песенка Мишина спета, и тюремной решетки ему не миновать. Мотковский знал это почти наверняка. Ему было жаль Мишина, но в то же время он не мог забыть о Баранкине.

Но умоляющий этот возглас повернул его мысли в другую сторону. Вот он, Мишин, живой, несчастный человек, которому предстоит расплачиваться за собственное головоугодничество. Это не так просто — несколько лет в заключении, в состоянии, противном каждому человеку, независимо от того, как и где заслужил он это.

Мишин стоял перед ним, ждал. И Мотковский видел, сердцем чувствовал, в каком он отчаянии.

— Дети, жена, как они?! — Мишин сжал руки в кулаки, сложил вместе, ткнулся в них лицом. Плечи его мелко задержались, и весь он, как в припадке, затрепетал, едва удерживаясь на ногах.

Черноглазов мгновенно смекнул, что настал тот самый момент, который упускать никак нельзя. Он побаивался Мотковского, знал, что он может быть и крутым — в горячке, если его вывести из терпения. Но другого выхода не было, и он решился:

— Александр Федосеевич, ну, дорогой ты наш, помоги чем-нибудь! — в голосе Черноглазова и тревога, и вкрадчивость. Он произнес это полупшепотом, надеясь и не надеясь на то, что Мотковский согласится.

Мотковский не любил, когда с ним хитрят, заискивают перед ним, и поморщился. Однако дело было не в этом. Он вспомнил, что как-то встретил Мишина на улице — с женой, двумя ребятишками. Мишин с подчеркнутым достоинством держал под руку красивую стройную женщину. На ее голове были уложены тугие косы. Под их тяжестью она будто не могла удержать голову прямо. Так и шла, горделиво подняв ее, и от этого казалась еще более привлекательной и недоступной. А перед ней и Мишиным чинно вышагивали мальчик и девочка. Аккуратно одетые, чистенькие, ухоженные. Мальчик лет десяти вел за руку пухленькую сестренку в коротком цветном платьице.

— Александр Федосеевич, — снова заговорил Черноглазов еще убежденнее. — Ну, посадят Мишина, а Баранкина не вернут...

Мотковский тер пальцами подбородок. На нем выступала щетина. Он не успел побриться, да, собственно, и не думал об этом, второпая собираясь на шахту. Он колебался, еще не зная, как поступить. Если убрать соединение, спрятать, все может обойтись. Даже наверняка обойдется. Сколько раз было: трубы — новенькие, только с завода, не выдерживали напора воды, лопались с легкостью воздушных резиновых шариков. Не выдерживали и соединения, вызывая нарекания в виде рекламаций, посылаемых заводу-изготовителю.

— Убрать соединение — концы в воду, все на стихию спишется, — не унимался Черноглазов. Он понял, что Мотковский сдается, наверняка сдастся, надо только нажимать, нажимать, уговаривать... Удастся — ему, Черноглазову, от этого тоже выигрыш. Конечно, накажут, будут недобро поминать на собраниях, в приказах, но это лучше, это самое то, что можно сейчас придумать.

— Баранкин сам ставил вчера бэрээс, — проговорил Мишин, подняв лицо.

Это было заведомой ложью. Но он решился на нее, чувствуя, что Мотковский не удержится, если его подтолкнуть еще раз, в последний, решительный раз. Мишин считал, что сейчас нечего думать, гадать, что хорошо и что плохо. Сейчас надо идти на все, не задумываясь, хватаясь за каждую соломинку, за каждую возможность.

На самом деле, еще неделю тому назад Баранкин подошел к нему:

— Мастер, надо бэрээс заменить!

Мишин пообещал, но так никого и не послал на склад. Ни в тот день, ни в следующий. Потом о соединении, казалось, забыл и сам Баранкин. Теперь его, уже мертвого, Мишин легко и просто обвинил в том, чего не было.

Он помолчал, собираясь с духом, и плаксиво, жалобно сказал:

— Спасите меня, что вам стоит!

И тут Мотковский решился на то, на что никак нельзя было решаться.

— Уберите соединение, — сказал он Мишину.

VI.

Они договорились между собой, что ни при каких обстоятельствах ничего и никому не расскажут.

— А вдруг соединение видел Жаров или Крутилин? — засомневался Мотковский.

— Едва ли, — начал успокаивать его Черноглазов. Однако он тоже не был уверен, что так не могло быть. Жаров и Крутилин оказались в забое первыми. Кто знает, попало ли или нет оно им на глаза? Гадай сколько хочешь, а все-таки соединение надо спрятать. Потом можно сказать: «Знать ничего не знаем!».

Мишина напугало это. «А вдруг?» Еще раздумают!

Но Мотковский больше ничего не сказал. Он сделал шаг в сторону,

вперед или назад — поди, разбирайся! — шаг неуверенный, но все-таки шаг в символическом пространстве, не пошевелив ни одним мускулом, но обуреваемый сомнениями.

Все стало на свое место лишь после того, как Голованов обнаружил, что за ночь давление воды не переваливало за роковую для Баранкина черту. В кабинете дежурного специальный прибор регистрировал это давление и «записывал» его колебания на специальную ленту.

А Мишина сняли с работы. Сначала он решил, что отделался легко. Но когда выяснилось, что соединение можно было и не прятать, в его сознании все перевернулось, а события последних дней вдруг отразились, как в кривом зеркале.

Мишин уже не думал о том, что в проделке с БРС должен был прежде выиграть он, что Мотковский решился на это не только защищая себя, но и его. Даже сейчас соединение являлось одной из причин гибели Баранкина. Одной, но не главной. И это снижало вину Мишина. Это была именно не главная вина и никак не преступление. Мишин знал твердо, что теперь судить его не будут, конфликт с уголовным кодексом не состоится. Страх, терзавший даже по ночам, лишая сна, исчез, развеялся. Казалось, Мишин должен был вздохнуть с облегчением, избавившись от него. Однако на смену пришла другая боль — о командировке и машине. Ему еще никто не сказал, что командировка отменяется. Необходимые бумаги давно были в Москве. Их могли запросить обратно, объяснив, в чем дело. Но собирались вернуть или нет, Мишин не знал, мог лишь строить догадки на этот счет. Он твердил себе, что теперь надо поставить на всем крест. И в то же время где-то в глубине сознания робкая надежда: а если обойдется? Он знал, что, пожалуй, это невозможно, но не мог иначе, не в состоянии был отказаться от всего сразу, не мог погасить в себе едва мерцающую, как уголек догорающего костра, надежду.

И чем тусклее она мерцала, тем больше разгоралась в нем злоба. На Мотковского и Черноглазова, на Баранкина, досадившего ему даже своей смертью, на все на свете.

Сам с собой он играл в объективность — излюбленное занятие тех, кто каждому своему поступку, каким бы порочным он ни был, находит оправдание. Один Мишин как бы смотрел со стороны на другого Мишина — удивительно близкого, единственно родного. По-своему анализируя, взвешивая каждую деталь, первый Мишин до слез жалел другого, доказывая кому-то невидимому, что его не хотят понять, что он чище, чем о нем думают, и к нему несправедливы. И рядом неизменно стояли Мотковский и Черноглазов. Они мешали, были виноваты хотя бы в том, что им меньше досталось, что там, в забое, они были сильнее и лучше. Могли показать его спины. Но не показали, хотя уже тогда это не имело никакого значения.

С таким настроением Мишин переступил порог парткома.

Секретарь парткома Огнивцев, человек лет тридцати пяти, черноволосый, со смуглым, чисто выбритым лицом, на котором выделялись пухлые, четко очерченные губы, пожав Мишину руку, спросил:

— Что приуныл, Сергей Сергеевич?

Мишин нарочито тихо ответил:

— Нечему радоваться, Григорий Борисович, кругом виноват.

— Так уж и кругом! — Огнивцев достал из яркой пачки сигарету, зажал ее в уголке губ, прикурил. Сильно затянулся, выпустил густую струю дыма и исподтишка, насмешливо и быстро глянул на Мишина.

Мишин, конечно, не заметил этого взгляда. Он сидел вполоборота к Огнивцеву, слегка опустив голову, не поднимая взора от маленького столика, приставленного ножкой буквы «Т» к массивному столу, за которым прочно и свободно устроился Огнивцев.

Он боялся Огнивцева, отлично понимая, что после всех передраг, в которые угодил, в парткоме ему могут устроить еще одну — самую последнюю и самую неприятную. Поэтому надо быть начеку, использовать все, чтобы выкрутиться, облегчить последний удар, если не удастся отвести его в сторону.

— Да, история незавидная, — раздумчиво произнес Огнивцев. Он встал из-за стола, неспешно, размеренным шагом прошелся по просторному кабинету из конца в конец, подошел к окну, прикрыл его и снова сел.

— История! Запутали вы ее — лучше не придумаешь.

— Как, — восторженно воскликнул Мишин. Он напрягся, втянул голову в плечи, бросил быстрый и выжидающий взгляд на Огнивцева. — Как?!

— А вот так, — отрезал Огнивцев, — ты же все знаешь лучше меня.

«Ничего не знает!» — решил Мишин. Он был достаточно хитер и изворотлив. И то, и другое, как это обычно бывает у людей, лишенных мужества, прямоты и твердости, служило ему средством защиты и оружием нападения. Обладая всем этим, Мишин безошибочно определил, что пока у Огнивцева нет такого козыря, чтобы прижать его к стенке.

Между тем Огнивцев, согласившись с выводами комиссии и приказом, написанным по ее материалам, был убежден, что ставить на всем этом деле точку пока рано. Комиссия не выяснила, куда исчезло соединение. Огнивцеву пока было неясно, зачем потребовалось его прятать. Но раз спрятали, значит, в этом был какой-то смысл, неизвестный ему, но вполне определенный, противный тому, что Огнивцев обязан был защищать.

Чем больше он думал об этом, тем тверже убеждался: соединение могли вынести из забоя и Черноглазов, и Мотковский, и Мишин — может быть, вместе, а может быть, его унес кто-то один. Он пока не хотел думать о том, что оно чем-то помешало Жарову или Крутилину, хотя допускал и это. Жарова и его напарника Крутилина он оставлял на потом, на случай, если ничего не получится с Мишиным.

Огнивцев взвешивал и так, и этак, и выходило, что Мишин должен разговориться. У него для этого больше причин. К тому же это — Мишин. Огнивцев вспомнил заседание парткома, где ему давали характеристику для министерства. У Мишина, как в ознобе, тряслись руки — так хотелось поехать за границу.

Потом, когда характеристику утвердили, Мишин выглядел еще взволнованнее — лицо благодарное, покрасневшее.

Теперь перед Огнивцевым сидел другой Мишин — подавленный и растерянный. Огнивцев почувствовал, что Мишин нарочито всем своим видом старается подчеркнуть, как ему не повезло, какой он несчастный, обойденный. Может быть, не лучший, но все-таки способ огородить себя от новых неприятностей. Дескать, лежачего не бьют!

Еще Огнивцев почувствовал, что все это поможет, должно помочь ему докопаться до истины, хотя он и не имел времени прикинуть, что здесь к чему. Неплохо разбираясь в людях, он также почти наверняка знал: Мишин надломлен, не тот он человек, чтобы выстоять до конца, что в эти мгновенья он непременно должен искать выход, на что-то решиться, чтобы облегчить свое положение.

— БРС спрятали вместе? — Огнивцев это сказал резко, нажимая на каждое слово.

Мишин вздрогнул, заерзал на стуле.

— Вы... это что?!

— Слушай, Сергей Сергеич, хватит играть в прятки, возраст у нас с тобой не тот. Я же вижу тебя насквозь. И Мотковского, и Черноглазова. На кой ляд вы убрали соединение, что вам в нем было, какая корысть?

— Мы... я не прятал.

— Допустим, ты не прятал, а кто же тогда?! Прокурора позвать, он-то уж наверняка найдет...

— Григорий Борисович, — взмолился Мишин, — да разве я, что это вы, разве...

И осекся. Огнивцев опять потянулся к яркой пачке, закурил новую сигарету.

Мишин явно юлил. Может быть, у него готово сорваться с языка признание, но он медлил, не решался на него. Он чего-то ждет. Но чего? Гарантии в том, что не будет персонального дела, заверений, что его пошлют за границу?!

Нет, он, Огнивцев, не мог ему ничего обещать. Это было бы слишком, через край. Обмануть — не хитро. Но как тогда смотреть в глаза тому же Мишину, всем коммунистам? Надо все-таки сломить Мишина, вытянуть у него правду. Не может он не разговориться...

Огнивцев снова зашагал по кабинету, искоса поглядывая на Мишина. Мишин вспотел, крупные капли пота выступили на лбу, на подбородке. По лицу не угадаешь, что думает, в какую сторону качнется.

— Командировка... лопнула? — спросил Мишин хрипло.

— Какая тебе командировка? Готовься к парткому...

Огнивцев остановился против Мишина, пристально посмотрел на него.

— Я тебя битый час уговариваю: выкладывай начистоту. Единственное, что тебе еще может помочь.

Мишин выпрямился на стуле. Уперся руками в края столика.

— Все, — проговорил хрипло, — все расскажу...

Мишин утешал себя: не ему одному моргать глазами, пусть и Мотковский, и Черноглазов побудут в его шкуре, испробуют, почем фунт лиха. По принципу: «Мне плохо, всем тоже должно быть не лучше!».

А у Огнивцева, когда он услышал эту фразу, это обещание, которого он ждал, почти жаждал, вместе с удивлением, что все произошло так быстро, шевельнулось чувство неприязни к Мишину. Он не знал, что Мишин еще до того, как прийти к нему, был по существу готов к признанию, готов, потому что он — Мишин, а не Иванов, не Петров и не Сидоров, что он был создан так, а не иначе... Он хотел одного: скорее бы все кончилось, скорее бы домой. Упасть в кресло, откинуться на его мягкую податливую спинку, закрыть глаза.

На заседании парткома бригадир проходчиков, член парткома, не крупный человек с большими залысинами, спросил:

— Почему сразу не рассказал? Комиссии...

Мишин промолчал. Ему было безразлично, что о нем сейчас думают.

— Да-а-а, — язвительно протянул другой член парткома, сидевший рядом с бригадиром, — ситуация!

Черноглазый устроился в углу, заложив ногу на ногу, подперев подбородок рукой. Односложно повторял про себя: «Фрукт, какой фрукт!...». При этом он и мысли не допускал о том, что он — тоже «фрукт» и что выглядит он сейчас ничуть не лучше Мишина.

А Мотковскому вдруг пришло на память давнее, фронтовое.

Уже в Польше было. Корректировал огонь тяжелых гаубиц прямо с передовой из подбитого танка. И вдруг надели немцы. Наши пехотинцы, занимавшие оборону, дрогнули, побежали... Все неожиданно — Мотковский не успел сообразить, что к чему. Фашистская самоходка проползла рядом. За ней — автоматчики. Обтекают танк, бьют короткими очередями.

В танке с Мотковским — радист. Широкое, небритое лицо побелело. Глаза — стылые, бессмысленные. Пытается протиснуться в люк, в днище.

— Я сейчас... Я руки подниму...

Мотковский рванул его за шиворот. Подставил пистолет к носу.

— Молчи!

Сам себя поймал на том, что говорит сдавленно, глушит голос. Словно в этом кромешном аду, в лязге гусениц, в реве сотен чужих глоток его может кто-то услышать. Отбросил радиста, схватил наушники. Лихорадочно высчитал свои координаты, вызвал дивизион.

— Огонь на меня!

И в следующие минуты почувствовал, как заколыхало танк, накрыло грохотом.

Все это отчетливо встало в памяти. И танк, будто попавший в сильное землетрясение, и радист — обмякший, кулем навалившийся спиной на бронированный борт.

Какое-то чудо отвело от них снаряд из своей же пушки. Когда все кончилось и немцы, не выдержав шквального огня, откатились, Мотковский, силясь унять нервную дрожь, посмотрел на радиста...

— Вот так, батя, видно, в счастливой рубашке ты родился...

Радист — пожилой дядька, откуда-то с Урала, смотрел на него жалобно и покорно. Мотковский решил, что никому не расскажет про люк

и про то, как радист хотел бежать. Может, как-нибудь приучится, обвыкнет. Только не брать его больше с собой. От греха подальше!

— Товарищ Мотковский сидит сейчас и помалкивает. Сказать нечего...

Мотковский вздрогнул, поднял голову. Кто это? Ах, да, Огнивцев! Он не выступает. Просто кольнул мимоходом.

Мотковский поежился, будто повеяло холодом... «Старею!».

И вдруг твердо и раздраженно сказал себе: «Нет, дело не в этом!»

Вокруг него закипели страсти. На Мишина надели, ему не давали отдышаться, коля (словами, подгоняя:

— Признавайся дальше, излагай по порядку,— требовал бригадир.— Ты же в докладной написал!

Мотковский слушал и не слышал. То, что происходило вокруг, как бы лишь касалось его, крутилось рядом. А у него, в его мыслях — другое, связанное с тем, что происходило, и все-таки свое, мучительное. Выходит, и он искал свой люк, хотел протиснуться в него.

Посмотрел на Мишина. Он стоял перед длинным столом, по бокам которого сидели члены парткома,— уставился в одну точку, должно быть, видел перед собой только ее. Что-то неуловимое было в нем от радиста.

Мотковский усмехнулся. Горько.

г. Новокузнецк

Николай Пискаев

почтальон

В войну мы почтальонку ждали
В стократ сильней,
Но у ворот,
Ее встречая, замирали —
Смотрели только,
Как идет.

И по походке торопливой
Уже угадывал любой,
Что входит с весточкой
Счастливей,
Не торопясь идет —
С худой.

Она сама об этом знала,
Должно быть, кто-то говорил,
Но, то терпенья не хватало
Идти ровней,
То с горя —
Сил.

Теперь не носят похоронок,
Но в сердце, чувствую, кольнет,
Когда, встречая почтальона,
Замечу, —
Медленно идет.

деревенский

Бывало, скажут, —
Деревенский!
И сразу, волю дав слезам,
Я сиротливо жался к стенке,
Чего стыдясь,
Не знаю сам.

И незаметным быть старался,
Осознавал как будто грех,
Что в самом деле отличался,
Приехав в город,
Ото всех.

Давно забыл я те печали,
Но грустно от того порой,
Что окликать в деревне стали

Меня при встрече, —
Городской!

К глазам нет-нет
Подступит круто
Обиды той же детской дым,
Что я в родном селе кому-то
Вдруг показался не своим.

г. Белово

Рудольф Лихоманов

РАССКАЗЫ

СВЕТЛАЯ РОЩА

Из воспоминаний детства особенно ярко запомнилось одно, чистое и живое. Я вижу черную, как кусок овчины, бороду деда моего по материнской линии Савелия Петровича. Он степенно шагает от улья к улью, раздвигая в стороны лохматое розово-зеленое пламя кипрея. Белая полотняная рубаха свободно падает с его крутых плеч. Когда мне хочется прохлады, я прижимаюсь к этой рубахе лицом, вдыхаю запахи меда, иван-чая, белоголовника и чего-то еще, неведомого, но родного.

В то лето пасека Савелия Петровича стояла на солнечной гриве в пяти километрах от глухой таежной заимки. Толком никто не знал, когда и кем срублена в распадке у речки Черный Калтан пихтовая избушка. Выше по ручью несколько лет назад была деревня из двадцати дворов. Штрек нового рудника обмелел речку, высосал из родников воду. Новый город сманил электрическим светом людей. Деревня умерла. Крепкие избы обветшали, дворы заросли репейником, жигун-травой и дикой малиной. Вечерами в деревне было грустно и тихо. Не слышно ни мычания, ни лая, ни говора, только ровное гудение мощного шахтного вентилятора неподалеку да скрип коростелей в кочках.

Мне было восемь лет. Старик приучал меня к пасеке, хотя сам был мастером на все руки, как и большинство коренных сибиряков. В молодости он гонял скот из Монголии по Чуйскому тракту, хаживал в

Джунгарию, бывал в Китае, знал несколько восточных языков, грамоту, любил книги и собирал их где мог.

Вечерами, когда спадала жара и тайга изливала на землю сказочную благодать свежего воздуха и ароматов, дед садился читать, но чаще всего он просил читать меня, хотя я бесперечь спотыкался на ятях и прочих «украшательствах», а сам слушал, чаевничал у костра и терпеливо объяснял мне то или иное непонятное слово. Больше всего Савелий Петрович любил стихи русских поэтов. «Чаще слушай пение земли да сердца, внучек! Чистым будешь, что твой родник!» — говаривал мне дед.

Тогда я впервые познакомился с Пушкиным и Тургеневым, с Лермонтовым и Некрасовым. А Льва Николаевича мы читали особо, по воскресеньям. Крепко полюбил я их — таких разных, но могучих волшебников слова русского, отворивших по доброте сердец своих двери в прекрасное.

Как-то в воскресенье мы с дедом пошли в деревню. Единственная улица ее подернулась гусиным лапником и подорожником. Неделию назад я нашел в крайней избе ржавое ружье и пыльную рысью шкуру. Мне хотелось полазать по чердакам и сегодня, поискать что-либо интересное, но дед на этот раз не разрешил мне.

Мы прошли через всю деревню к огородам, означенным старым пряслом из сухих пихтовых жердей. И тут я увидел сад. Маленькие метровые березки ровными рядами стояли на скошенной траве. Прокосы были широкие, сено давно высохло.

Дед подал мне грабли и велел работать.

К полудню я устал. Мы перекусили малосольными огурцами и хлебом. Дед задремал в тени копны, а я стал бродить меж деревцами — искать землянику. На одной березке я увидел привязанную к ветке ленточкой лыка тоненькую пластинку, выструганную из прутика. На дощечке, величиной чуть больше дедова указательного пальца и похожей на серебряный слиток, было вырезано кончиком ножа: «А. С. Пушкину, поэту Российскому». Я с любопытством осмотрел эту бирочку и подошел к соседнему деревцу. На нем висела точно такая же дощечка, с надписью «Михайле Ломоносову память на лета долгие».

Целый час, наверное, ходил я от березки к березке и читал надписи: Майков, Карамзин, Фет... Имена писателей, большей частью незнакомых тогда мне, переплелись в голове, будто цветочные гроздья черемухи. Захотелось прочесть их всех и как можно быстрее. Нетерпение было так велико, что я разбудил деда и запросился назад, на заимку, к его котомке с книгами. Я лишь не понимал, для чего деду понадобилось садить лес в тайге, и спросил об этом. Савелий Петрович долго молчал, чесал бороду, шурясь от яркого солнца, потом ответил:

— Да так, земляца пустует. Это вредно ей, пустовать-то...

... В позапрошлом году я вышел из пригородного автобуса на пустынной остановке у развилки шоссе. По левую сторону бетонного мостика через Черный Калтан кудрявилась березовая роща. Было утро, и березы отливали парной молочной свежестью, что мне, горожанину, отпускнику, было почти в диковинку. На сочной зеленой отаве по кра-

ям ровных аллей стояло несколько разноцветных деревянных скамеек, блестящих от росы. Здесь — окраина многоэтажного города. Но я узнал эту рощу. Узнал место, где мы обедали с дедом. Снова я ходил от березы к березе, втайне надеясь найти хотя бы одну бирочку. Я не нашел ни одной дощечки с дедовой надписью ни на деревьях, ни на земле. Время не сохранило их.

Я вернулся на шоссе. На современном павильончике из стеклянных пустотелых кубиков висела металлическая доска с большой буквой «А» и надписью «Трушникова роща». Доска чуть подрагивала на ветру, как туго натянутый порывом флаг.

И тут-то я понял, что к чему. Савелий Петрович сам был поэтом! Я еще раз оглядел рощу и увидел, что с одного края, ближе к шоссе, березки совсем маленькие, по пять-шесть лет. Видимо, их посадили недавно, продолжая аллею. Тогда, я точно помню, березок было всего тридцать восемь. Сейчас я насчитал их около сотни и сбился со счета. Так много росло деревьев! Их чистота радовала меня. Вспомнились стихи:

«Светло в России от берез...».

И не только от берез, но и от людской доброты и памяти светло в России. Уехал я из этой рощи только на последнем автобусе, наполнив сердце тревогой и радостью.

Не знаю, когда, где и какую рощу посажу сам, хорошо ли примет земля мои саженцы, но там обязательно будет дерево Савелия Петровича Трушникова. Мне хочется, чтоб и возле моей рощи люди сделали остановку.

ВЕСЕННЯЯ РАПСОДИЯ

О Викторе Савельеве знала вся стройка. Когда я приехал на участок, где он работал, в жилых вагончиках было пусто. В балке-столовой повара готовила ужин. Был синий сумеречный вечер, и я удивился, что здесь никого нет.

— Там все... — неопределенно махнула рукой женщина в сторону опушки, — Виктор увел.

Я шел по тропинке, утопанной валенками и унтами. Она вела меня меж тонких высоких сосен. Стоял март, и снег был ноздреват и влажен. Его еще не успело подморозить, но к утру он покроется прочной коркой чарыма.

Пройдя метров тридцать, я остановился, услышав тревожные и нежные звуки. Прибавил шаг и на широкой вырубке увидел людей у костра. Они сидели вокруг на чурбаках и лишь один, высоченного роста, возвышался над ними. В его руках была маленькая скрипка. Так вот он какой, Савельев!

Он играл, прижав инструмент к меховому воротнику тужурки. Звуки медленно и торжественно поднимались к небу, разливались над

притихшей тайгой и таяли в синеве, словно дым. Парни задумчиво смотрели на огонь, курили. Еле слышно потрескивал костер, и отблески пламени плясали на их лицах. О чем думали ребята в замасленных спецовках? О весне? О любимых? Не знаю...

Я молча присел рядом, боясь нарушить красивый полет звуков. На меня не обратили внимания, только трое знакомых парней поздоровались кивком головы.

Виктор играл легко, осторожно касаясь смычком струн. Голубые глаза его полужакрыты. Русая борода — на деке скрипки. Он стоял в теплом льняном воздухе вдохновения. Того великого вдохновения, которое приходит к человеку не так часто. Он купал в своей музыке людей, привычных к реву моторов, лязгу и визгу металла, уханью дизель-молота. То были привычные звуки труда. А здесь...

В радостно-томящей мелодии я услышал шелест тающего снега, внутренне ощутил неукротимое движение сока в стволах берез. Скрипка сухо шелкнула. Это сломался упавший зимою с дерева сучок под лапой разбуженного медведя, и сразу же раздался стрекот болтуньи-сороки. Его сменило веселое теньканье синицы. Казалось, она прыгает по веточкам примороженных кустов зеленоватого тальника и с любопытством смотрит на людей. На секунду скрипка смолкла. Потом из нее вырвался тонкий свист и какой-то неясный шум. В пробуждающуюся тайгу ворвалась метель. Скрипка гудела в огромных руках Савельева, как гудят в ненастье вершины сосен. Сам он чуть пригнулся, словно шел навстречу ледяному северному ветру. По моему телу невольно прошла дрожь, и я ощутил пронизывающий до костей холод. Снова секундная пауза, и снова торжественные звуки весны продолжали полет. В них — журчанье ручья, укрытого снежным одеялом, опять теньканье синицы и брачная весенняя песня глухаря на току: тэк, тэ-эк, тэк-тэк...

Чудо музыка! Как часто мы не замечаем творящегося рядом, в природе! Так, наверное, устроен человек, что ему всегда недосуг.

Я закрыл глаза и увидел поющую берестянку в губах таежного первожителя. А, может быть, это поют перья вальдшнепа, стремительно падающего с высоты? Серебряными подвесками звенела капель, радостно качал головой кандычок.

Около часа пела весеннюю песню скрипка. Последние звуки ее долго блуждали в сосняке, пока не погасли. Виктор спрятал скрипку в футляр и закурил. Никто из ребят не проронил ни слова. Они смотрели на своего бригадира, все еще находясь в волнах музыки. На их лицах я прочел удивление перед человеческим талантом и сердцем.

Виктор смущенно улыбался, и я заметил, как дрожит в его пальцах догорающая папироса.

— Весенняя рапсодия, — сказал Савельев, и все молча согласились.

— На у-жин! — долетело до нас.

И тут все загалдели. Кто хлопал Виктора по плечам, кто жал ему руки, кто просил посмотреть скрипку, которая всегда висела над его кроватью и примелькалась всем своими вечерними гаммами. Двадца-

типятилетние парни будто стали детьми, нашедшими интересную, давно желанную игрушку. Виктор взял скрипку и пошел по тропинке. Ребята разом смолкли и гуськом направились вслед. Погасшая было музыка снова ожила в их душах, как оживает подчас давно забытая радость, ощущение счастья. А счастье — это всегда — прикосновение к прекрасному.

КУКУШКА

Сегодня рано утром, еще до восхода солнца, я впервые в этом году услышал голос кукушки. Лес почти черен, только осинник на косогоре чуть тронут зеленым накрапом, небо чистое, по-южному высокое и голубое, безветрие, первые щетинки травы на подсохшей лужайке перед домом, возня воробьев у скворечника — все говорит о том, что день предстоит погожий.

Я поискал в карманах монету, но не нашел. «Что ж — подумалось мне, — придется весь год жить в безденежье!» Правда, это не всерьез. Старинная примета не для меня. Не скажу, что в прошлом году у меня денег куры не клевали, несмотря на то, что первое кукование в тот раз я услышал за покупкой мороженого в городском парке...

Голос нынешней кукушки был слабым, она куковала где-то в отдалении, за увалом. Я напряг слух, потом вспомнил присказку, слышанную в детстве от матери: «Кукушка, кукушка, милая подружка, как мне быть, сколько лет прожить?» Я трижды произнес эти слова далекой вещей птице. Начал было считать, но рядом заработал мотор автомашины, и кукушку стало не слышно. Я стоял и прислушивался, досадуя на шофера, который ни свет ни заря вздумал куда-то ехать.

Кукушки я больше не услышал, хотя автомобиль уехал сразу же. Подождав немного, я ушел в дом, сел за свои бумаги, но не смог связать и двух слов. Что-то незнакомое и тревожное подкралось к моему сознанию. Не знаю, что именно, однако связанное с кукушкой. Чтоб как-то отделаться от этого, развеяться, я пошел в душ, вторично за утро. Растираясь полотенцем после купания, я вдруг обартил внимание на четырех синих птиц, вышитых по углам крупным болгарским крестом. Полотенце мне подарила сестра, я пользуюсь им давно, но птиц не замечал. Обыкновенный рушник «с петухами». Я вгляделся в вышивку и увидел, что на ткани изображены совсем не петухи, а кукушки. Вспомнились «Кукушка и петух», потом что-то из Брема, а к полудню в моей памяти роилась целая стая красноногих кукушек. Мне показалось, что я заболел. Выпив стакан крепкого чаю, я прилег с книгой, но мне не читалось.

Тогда я полез в чулан, где валялись всякие железки, накопленные за долгие годы, с намерением подзяться этим хламом и очистить кладовку под фотолaborаторию. Там-то, среди сломанных патефонов и велосипедов, я и нашел часы с кукушкой. Вот наваждение! Вначале я их хотел выбросить и со зла, и за ненадобностью, но передумал, увидев

на деревянном резном корпусе, с той стороны, что прилегает к стене, надпись: «Мая 1 дня сии часы куплены в Новониколаевске у купца Ломова». Я сразу же вспомнил эту историю, что с утра вторгалась в мой мозг. Часы с кукушкой были собственностью моего деда. Он их действительно купил в Новосибирске в лавке купца второй гильдии Василия Ломова, когда был уже тридцатилетним мужиком. Он любил фабричную девушку Анисью. Сам работал для «казны», был связан с революционным кружком депо, часто выполнял различные поручения. Девушка тоже любила его и принимала участие в работе подполья.

Надо сказать, что дед любил птиц, особенно кукушек. Наверное потому, что сам вырос в чужом доме и в детстве носил прозвище Сураз, что значит подкидыш, чужой, что не имел собственного гнезда. Анисью он звал кукушкой. Она тоже была одинока.

Первого мая тысяча девятьсот пятнадцатого года соратники по борьбе решили собраться в пригородном бору. Дед и Анисья были связанными. Они сели в кустарнике на краю бора, откуда хорошо видно дорогу из города и стали наблюдать. Где-то куковала кукушка. Анисья насчитала для себя семьдесят лет и принялась считать деду. Он смотрел на дорогу, слушал кукушку и тихо улыбался от близости Анисьи. Девушка сплела венок из подснежников и надела ему на голову. Я представляю, как выглядели белые цветы на черных, как свежая вечерняя пашня, волосах, представляю его, смуглого и молодого, в синей растянутой косоворотке, вижу Анисью с тяжелой русой косой, в длинном ситцевом платье с густыми красными узорами.

Казаки появились совсем неожиданно и с другой стороны, от деревеньки. Полусотня шла на рысях, не вынимая клинков, только нагайки полосовали воздух озорно и с легкостью. Дед сбросил с головы венок и велел Анисье бежать к ложине, где шла маевка, а сам побежал краем бора на другой пост. Алое платье Анисьи, будто пламя, металось в едва зеленеющих зарослях от одного куста к другому. Модные башмачки из красного козьего хрома приминали стебли подснежников и медуницы. Есаул первым заметил ее и пустил коня в галоп. В пьяной удали казаки окружили девушку и стали теснить лошаадьми из кустарника на открытое место. Кто первый хлестнул Анисью нагайкой, не известно. Тугие сыромятные плетки о семи хвостах жгли и полосовали спину, голову, руки, прикрывающие лицо и грудь. Когда, споткнувшись, Анисья упала, казачьи кони истоптали и ее тело, и поляну вокруг до черноты. Но платье все же выделялось особым ярким пятном, будто россыпь клюквы, и есаул велел двум казакам сорвать его с девушки. Дед успел сообщить своим товарищам о казаках.

Не знаю, как хоронили Анисью, дед этого не рассказывал, но в память о своей любви он и купил часы с кукушкой, возвращась с маевки. Эти часы исправно куковали ему до конца дней.

Если вы будете у меня в гостях, не удивляйтесь столь старой вещи. Сегодня вечером я очищу часы, пусть висят в моей рабочей комнате. Жаль, нет только гири.

Михаил Сорокин

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕГЕНДУ

Работая в различных архивах, мне не раз приходилось «перелопачивать» груды пыльных громоздких дел, одетых в серую мешковину грубого холста. Иногда даже недели упорного поиска почти ничего не давали. Но, бывало, попадались такие находки, от которых внезапно перехватывало дыхание.

Так случилось и в тот раз, когда сотрудница государственного архива Алтайского края в Барнауле положила на стол читального зала стопу заказанных дел, среди которых мое внимание сразу же привлекло «дело о разбойнике Степане Тюменеве и его партией». Даже беглое общее знакомство с ним показало, что наконец-то передо мной лежит ценнейший исторический источник, которого так не хватало для исследования.

Приписное крестьянство Кузбасса на протяжении многих десятилетий не прекращало упорной борьбы с угнетателями. Они писали челобитья, бежали с заводских работ, оставляя свои дома и прятались в недрах кузнецкой тайги, отказывались выполнять феодальные повинности, а иногда с оружием в руках сражались против своих поработителей. Однако для доказательства последнего не хватало убедительных аргументов.

Вместе с тем широкое распространение среди горнорабочих и приписных крестьян Колывано-Воскресенского горного округа легенд и преданий о героях, «народных за-

ступниках» убеждало в том, что доказательства можно найти, так как народная фантазия не могла быть беспочвенной.

В свое время на территории нашей области большой популярностью пользовались предания о ловком и удачливом беглеце Ссроке, в пределах современных Алтайского края и Новосибирской области были широко известны сказания об удалом Селезне и Криволуцком, на юго-западе Алтайского края и в районах современной Восточно-Казахстанской области — легенды о богатырях братьях Белоусовых.

Исследователи давно высказывали твердое убеждение в реальности основы этих легенд. Но для изучающего формы классовой борьбы этого далеко недостаточно. Исторiku нужны, кроме фольклора, реальные исторические факты, не приукрашенные народной молвой.

«Дело о разбойнике Степане Тюменеве и его партией» состоит из протоколов допросов, донесений старост земских изб, прошений пострадавших богачей, рапортов управителей и начальников воинских команд, брошенных на поиски отряда.

«Дело» существенно расширяет наше знакомство с вооруженными выступлениями трудящихся против феодального угнетения, раскрывает особенности этой формы классовой борьбы, показывает отношение к ней трудового крестьянства дореволюционного Кузбасса.

Определенный интерес вызывает и то об-

стоятельство, что речь в нем идет о хорошо знакомых читателю местах. Основные события разворачиваются вокруг современного города Кемерово. Усть-Искитимская и Верхотомское, Кемерово и Егуново, Бороушка и Мозжухино, Подъяково и Колмогорово, Балахнина и Шубина, речка Промышенка и многие другие часто встречающиеся в этом документе географические названия* вызывают в памяти каждого из нас знакомые ассоциации.

Господствующие слои феодального общества рассматривали вооруженные выступления трудящихся против гнета и эксплуатации как тягчайшие преступления, презрительно именуя их «разбоями и грабежами». Подавляющее большинство дворянских и буржуазных историков полностью солидаризовались с этой оценкой. В их работах «разбой» оценивался как покушение на «священное право частной собственности», как нарушение «общественной тишины и спокойствия».

Совершенно иначе относились к «разбою» революционеры-демократы, которые видели в них одну из форм классовой борьбы. Замечательный русский историк А. П. Щапов, который 16 апреля 1861 г. произнес яркую речь на панихиде, устроенной казанскими студентами по крестьянам, убитым при подавлении восстания в селе Бездна, писал: «Разбойничество XVIII столетия было каким-то злым, свирепым мщением, большею частью направленным на богатей, на дворян-помещиков, на начальников».

Большой интерес к вооруженной борьбе трудящихся против феодальной эксплуатации проявляли классики марксизма-ленинизма. Так, например, К. Маркс, изучая книгу русского историка Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», особое внимание обратил на оценку социальной сущности протеста, данную самими участниками движения. Он с большим удовольствием

прочитывал место из работы, где разинцы заявляли, что они «не воры, не разбойники, а удалые добры молодцы».

В работах классиков марксизма-ленинизма мы находим глубокую характеристику социальной сущности вооруженной борьбы против феодальной эксплуатации и гнета. Так, например, Ф. Энгельс в своей работе «Положение рабочего класса в Англии» подчеркнул, что «неуважение к существующему социальному строю всего резче выражается в его крайнем проявлении — в преступлении».

Советские историки внесли огромный вклад в дело изучения «разбоев» как одного из открытых проявлений классовой борьбы крестьянства против феодального угнетения. Вместе с тем необходимо отметить, что в нашей историографии до сих пор еще нет единого мнения в вопросе — были ли распространены «разбой» в Сибири? Так, например, один из крупных специалистов-историков В. В. Мавродин утверждает, что в «Сибири не было разбойничьих партий». Изучение следственного дела «о разбойнике Степане Тюменеве с его партией» доказывает ошибочность этой точки зрения.

* * *

Поздней осенью 1797 г. в лесу, неподалеку от села Верхотомского одноименного ведомства, появился хорошо вооруженный отряд. Его ядро составляла группа ссыльных, бежавших из-под Енисейска. Атаманом у них, очевидно в силу своих личных качеств, был Степан Тюменев.

Появление беглых ссыльных на территории Кузнецкого уезда вряд ли было случайным. Бывшие помещичьи крепостные, государственные и приписные крестьяне, работные люди и другие лица, высланные царизмом за разные нарушения феодального правопорядка в сибирскую ссылку, во время долгого пути и в пересыльных тюрьмах обсуждали между собой средства избавления от тяжких оков самодержавия. Каждый из собеседников мысленно выбирал для себя места, где можно было на-

* Названия приводятся в транскрипции описываемого времени.

дежно укрыться после побега. Особенно часто во время этих бесед назывались труднодоступные места Западной Сибири (Кузнецкая чернь, глухие районы Салаира и Горной Шории, «ущелины» Алтая). Сюда народная фантазия поместила легендарное беловодье — край свободный, не знающий власти помещиков, изобильный пушным зверем и рыбой, удобный для занятий хлебопашеством и скотоводством.

Среди товарищей Степана Тюменева был человек, которому уже довелось побывать в пределах Кузнецкого уезда. Ларион Трифонов, бывший крепостной Строгановых, бежал от своих господ в Сибирь. Ему удалось добраться в один из самых глухих уголков в Колывано-Воскресенском горном округе. Здесь, в деревне Бороушки, расположенной у самой таежной глухомани, он прожил несколько лет, пока не был обнаружен и арестован местными властями. За побег от своего господина он был выслан в ссылку в Восточную Сибирь.

В Енисейске Степан Тюменев и его товарищи — Л. Трифонов, Д. Исаев, Д. Паншин и другие — разработали и сумели осуществить дерзкий план побега. Беглецам удалось бежать и пробраться на территорию Кузнецкого округа.

Здесь отряд Степана Тюменева стал быстро пополняться местными людьми. Спасаясь от рекрутчины, к ним пришел молодой крестьянин Алексей Касаткин, житель Верхотомского острога. Дорогу в отряд ему показал его друг Семен Кемеров, которому не раз приходилось снабжать хлебом Тюменева и его товарищей.

Оказавшись на территории Верхотомского ведомства, Степан Тюменев и его товарищи не проявляли особой активности. Их главной задачей поначалу являлось постепенное вживание в среду, установление надежных связей с крестьянской беднотой. Сами вчерашние крестьяне, силою тяжких обстоятельств оказавшиеся «разбойниками», они легко сумели привлечь на свою сторону симпатии крестьянской бедноты. Готовность отряда жестоко отомстить бо-

гачам за их издевательства над «недостаточными людьми» влекла к ним десятки крестьян, обеспечивала поддержку со стороны трудового народа.

Всю осень и зиму Степан Тюменев и его товарищи прожили в промысловой избушке в лесу, неподалеку от Верхотомского острога. За это время им пришлось побывать почти во всех окрестных деревнях (Колмогоровой, Подъяковой, Кемеровой, Бороушке, Кореновой, Усть-Искитимской, Можухиной и других).

Несмотря на обширные связи Степана Тюменева и его товарищей с крестьянами, никто не выдал их царским властям. Наоборот, многие из приписных открыто выражали беглым свое дружеское отношение, оказывали им значительную материальную помощь и поддержку. Так, например, житель деревни Подъяковой Степан Колокольцев передал Степану Тюменеву значительную сумму денег, крестьяне Савелий Новиков, Николай Дубсков, Тарас Касаткин, Петр Колокольцов, Василий Киселев, Емельян Лапин, Наталья Егунова и многие другие помогали отряду припасами, предоставляли ему кров, делились с ними всем необходимым. Все эти факты были обнаружены царскими чиновниками в ходе проводившегося в 1798—1799 годах расследования по делу Степана Тюменева и его товарищей.

Необходимо отметить, что сами беглецы, в свою очередь, прилагали немалые усилия для того, чтобы привлечь приписных на свою сторону. Они не обижали крестьян, щедро вознаграждали их за малейшие услуги, обещали сторицею воздать богачам за их многочисленные обиды.

Однако Степану Тюменеву и его товарищам приходилось проявлять большую осторожность. Поездки беглецов по территории Верхотомского ведомства, их обширные связи с местными жителями вряд ли могли долго оставаться незамеченными. Поэтому они решили не искушать судьбу и сменить свой стан. Ранней весной отряд перебрался на новое место — на речку Промышленку.

Как показали дальнейшие события, предосторожность оказалась весьма своевременной. В начале апреля 1798 г. по приказу земского управителя Кузинского сельская администрация двух соседних земских изб — Чаинской и Верхотомской — направила более сотни крестьян на розыски неизвестных, скрывающихся неподалеку от центра ведомства. Однако все попытки властей поймать беглецов не увенчались успехом.

С наступлением тепла начались активные действия отряда Степана Тюменева. Они спустились до деревни Мозжухиной, где некоторое время гостили у своего хорошего знакомого, охотника Еремея Торгунакова. Затем Степан Тюменев и его товарищи перебрались в деревню Балахонку. Там с помощью местных жителей они обзавелись лошадьми, седлами, пополнили запасы оружия, свинца и пороха, продовольствия.

С помощью Степана Тюменева и его товарищей крестьянская беднота отомстила за многочисленные обиды и страдания самым жестоким и ненавистным эксплуататорам, известным во всей округе богачам. Благодаря информации, полученной от приписных, в деревнях Балахинской Тутаевского ведомства и Камышной Верхотомского ведомства отряд Степана Тюменева разгромил три хозяйства известных на всю округу богачей — Р. Майгова, Ф. Кузьмина, Я. Мценского.

Лето 1798 г. Степан Тюменев и его товарищи провели в непрерывных походах по территории Кузнецкого округа. Отряд постоянно менял стоянки, передвигаясь от одного района в другой — из Тутаевского в Верхотомское, из Верхотомского в Касминское, из Касминского в Мунгатское ведомство. В августе в деревне Шибановой Касминского ведомства Степан Тюменев и его товарищи устроили дерзкий налет на хозяйство известного богача и скупщика А. Захарова, державшего в своих руках крестьян всей округы. У него было отобрано огромное по тем временам богатство на общую сумму 2400 рублей.

Весьма показательны, что и в данном случае объект для нападения был выбран с помощью приписных крестьян. Незадолго перед этим отряд Степана Тюменева встретил в поле крестьян, убирающих хлеб. Между приписными и вооруженными всадниками завязалась дружеская беседа. Деревенские жители охотно рассказывали собеседникам о своем житье-бытье, жаловались на богатеев, безжалостно их эксплуатирующих. Особенно негодовали на А. Захарова. Поэтому, когда Степан Тюменев предложил крестьянам проводить отряд до деревни, где находился дом А. Захарова, приписные охотно на это согласились. И не только проводили Степана Тюменева и его товарищей до самой околицы, но и помогли ему избежать преследования, указав самую короткую дорогу к чернолесью. Степан Тюменев щедро расплатился с крестьянами за их помощь, передав им целый мешок денег «нещотом».

Этими нападениями на деревенских богачей не исчерпывается послужной список славных дел Степана Тюменева и его товарищей. Летом 1799 г. на дороге между деревнями Худяшовой и Дрочениной в Касминской волости отряд Степана Тюменева разгромил группу скупщиков крупного рогатого скота, прибывших в Колывано-Воскресенский горный округ из Пермской губернии. У них было отобрано 1070 рублей деньгами и большое количество других ценностей. Местные власти в своих донесениях в канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства умоляли срочно прислать к ним на помощь «пристойное количество расторопных воинских служителей, дабы не могли те разбойники партией и более размножиться с тем обществу нанести вред...» (Государственный архив Алтайского края, ф. 1, оп. 2, д. 149, л. 37).

Успехи отряда Степана Тюменева серьезно обеспокоили не только сельскую администрацию и канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства, но и власти Западной Сибири. Кузнецкий земский исправник Калачев получил из Тобольска

от сибирского генерал-губернатора Д. Р. Кошелева строгое предписание приложить максимум усилий для того, чтобы ликвидировать «разбойничью партию С. Тюменева». За допущенную неразворотливость и промедление в поиске отряда Степана Тюменева был отстранен от должности земский управитель Кузинский.

Неуловимость отряда, длительность пребывания в одном и том же районе объяснялись целым рядом обстоятельств. Во-первых, немаловажное значение имели их физические и моральные качества. Все товарищи Степана Тюменева были опытными бойцами. За плечами каждого из них были годы нелегкой борьбы против помещиков, управляющих, царских надсмотрщиков. Во-вторых, определенную роль в успехах отряда Степана Тюменева сыграли географические особенности района. Глухая кузнецкая чернь (труднопроходимая тайга), громадные просторы совершенно незаселенных мест помогали им легко уходить от преследования, спастись от погони. Дружеские связи с крестьянской беднотой, охотниками и рыбаками давали отряду возможность быстро ориентироваться и находить надежные укрытия в дебрях кузнецкой тайги. В-третьих, очень удачным оказался выбор времени действия отряда. Оно пришлось на период высокой социальной активности приписных крестьян Колывано-Воскресенского горного округа. В 1797—1798 гг. в различных районах округа прокатилась массовая волна выступлений приписных крестьян. В последующие годы она пошла на убыль, но для «разбоев», как одной из форм активной вооруженной борьбы против эксплуатации, возможно, этот спад оказался даже благоприятным. С помощью небольших вооруженных отрядов приписные крестьяне старались отомстить за свое поражение. Поэтому они укрывали бойцов от преследований, оказывали им всяческое содействие, в трудную минуту приходили на помощь.

Действия Степана Тюменева и его товарищей имели ярко выраженную социаль-

ную окраску. В них, как говорил А. М. Горький, четко прослеживались элементы бунта социального. На эту сторону дела были вынуждены обратить внимание царские чиновники в своих донесениях в канцелярию Колывано-Воскресенского горного округа. Так, например, земский управитель А. Гранау в рапорте в канцелярию отмечал, что «...Тюменев чинит грабительство достаточных крестьян», их деньги и имущество «отдает неимущим, проговаривая, что вам, бедным, негде взять» (там же, л. 39).

Захваченными богатствами Степан Тюменев и его товарищи щедро делились с крестьянской беднотой. Причем весьма любопытен характер этих раздач. Так, например, приписному крестьянину Тарасу Касаткину Степан Тюменев подарил десять рублей для того, чтобы тот смог заплатить за неявку на заводские работы, помог на год избавиться от ненавистой феодальной повинности. Подобная помощь была оказана приписным крестьянам Савелию Новикову, Егору Шубину и Софрону Кореневу, Николаю Дубскому, Василию Киселеву и многим другим.

В свою очередь, приписные крестьяне оказывали отряду Степана Тюменева неоценимую помощь и поддержку, которая носила характер ярко выраженной социальной солидарности и проявлялась в самых различных формах.

Насильственно мобилизованные для разыска отряда приписные крестьяне всеми силами стремились уклониться от выполнения этой повинности. Староста Верхотомской земской избы 3 июня 1798 г. докладывал земскому управителю, что собранные по его приказу на поиск Степана Тюменева и его товарищей жители Тареминской слободы проявили дерзкое неповиновение властям и «все до одного человека разъехались по домам».

Нападения на богачей, совершаемые Степаном Тюменевым и его товарищами, производили глубокое впечатление на крестьянскую бедноту, импонировали ее со-

циальным чувствам, поэтому, естественно, что когда отряд попадал в беду и нуждался в помощи, приписные оказывали ее без оглядки на возможные последствия.

Однажды отряду Степана Тюменева пришлось уходить от погони. Казалось, на этот раз воинской команде удастся настигнуть беглецов. Лошади под ними уже окончательно выбились из сил. В этот критический момент, когда спасения, вроде бы, ждало было уже неоткуда, на помощь пришли крестьяне, встретившейся по пути деревни Калачевой. Они заменили смельчакам лошадей, приняли и спрятали их тяжелый груз.

Между отрядом Степана Тюменева и приписными крестьянами установились отношения дружеской взаимопомощи и поддержки. В немалой степени этому способствовала их социальная однородность. Ведь каждый из бойцов еще недавно был крестьянином. Любому из них были хорошо знакомы нужда, близки и понятны бедствия народа.

Осенью 1789 г. в Кузнецкий округ с заданием поймать или уничтожить отряд Степана Тюменева прибыла большая группа солдат под руководством офицера Сургутского. Вскоре после их приезда местные власти еще раз смогли убедиться в характере отношений, установившихся между крестьянами и бойцами отряда. Во многих деревнях горнозаводского ведомства крестьяне оказали солдатам открытое сопротивление. Так, например, когда воинская команда потребовала от жителей деревни Шевелевой Мунгатского ведомства подводы для преследования отряда Степана Тюменева, последние наотрез отказались подчиниться. Между крестьянами и солдатами произошли столкновения, во время которых приписные пустили в ход колья и топоры. С обеих сторон имелись раненые. То же самое повторилось в соседней деревне Червевой.

Командир отряда Сургутский, сообщая об этих фактах земскому управителю Кузнецкому, писал в рапорте от 9 октября

1798 года, что действия крестьян были направлены на то, чтобы помешать воинской команде ликвидировать отряд Степана Тюменева или, как выражался Сургутский, «через таковое удержание последовало... к поимке разбойников упущение» (там же, л. 140).

Крестьяне отказывались снабжать воинские команды какой-либо информацией о Степане Тюменеве и его товарищах. Все попытки солдат вырвать сведения об отряде с помощью безжалостных истязаний и пыток также не дали ожидаемых результатов. Несмотря на то, что крестьяне Самсон Кабанов и Василий Култаев были зверски избиты, а большая группа крестьян арестована, беспощадно истерзана и отправлена в Кузнецк, в нижний земский суд, по обвинению в пристанодержательстве, сведения об отряде у крестьян вырвать не удалось.

С помощью местных жителей Степан Тюменев и его товарищи благополучно перезимовали в кузнецкой тайге. С наступлением весны отряд вновь появился на территории Кузнецкого округа. Всю зиму 1798—1799 гг. воинская команда безуспешно металась по верхотомскому, мунгатскому и касминскому ведомствам, пытаясь обнаружить место стоянки отряда. Лишь весной солдаты нашли в тайге два пепелища. Там, где еще недавно стояли две избышки, лежали две кучи горячего пепла. Очевидно, кто-то перед самым приходом солдат сумел предупредить скрывающихся здесь людей. Их побег был настолько успешным, что беглецы не успели забрать с собой запасы продовольствия. Неподалеку солдаты обнаружили около ста пудов муки. Такое количество продовольствия было невозможно заготовить без помощи крестьян. Очевидно, местные власти были не так уж далеки от истины, когда заявляли, что большинство приписных «сообщники и похоронщики Тюменева» (там же, л. 254).

В донесениях местных властей в канцелярию горного начальства мы встречаем вынужденные признания того факта, что

неуловимость отряда Тюменева объясняется массовой его поддержкой приписными крестьянами. Земский управитель Басирев писал начальнику Кольвано-Воскресенских заводов В. С. Чулкову 17 мая 1799 года: «...Мунгатской волости... жители... скрывающихся в чернолесье разбойников Тюменева с товарищами едва ли в прошедшую зиму не прикрывали и не довольствовались хлебом...» (там же, л. 254).

В 1799 г. власти Западной Сибири были вынуждены начать операции значительных масштабов для того, чтобы ликвидировать наконец отряд Степана Тюменева. Весной в Кузнецкий округ царские власти направили еще одну группу солдат под руководством двух унтер-офицеров. Летом к ним присоединился отряд солдат и казаков под командованием капитана Кашинцева, направленный сюда из Бийска. Таким образом, против одного небольшого отряда С. Тюменева в округе действовало несколько воинских подразделений.

В конце марта 1799 г. солдатам удалось поймать в тайге товарища Степана Тюменева — Дмитрия Шевелева. Схваченный своими преследователями, закованный в колодки, он, обращаясь к своим мучителям, заявил: «Хоша де одного черта в черни теперь и поймали, там осталось чертей еще много...». В этих словах звучала не просто молодецкая удаль или разгульное бахвальство, но и глубокая вера в справедливость дела, за которое сражались Степан Тюменев и его товарищи, готовность продолжать борьбу с угнетателями, чувство гордости за свой маленький отряд, смело бросивший вызов капитанам-исправникам, земским управителям, полицейским чиновникам и воинским командам, посланным против них царским правительством.

Несмотря на героизм и мужество бойцов, кольцо вокруг отряда Степана Тюменева постепенно сжималось. Однако одержать легкую победу над этими мужественными людьми воинским командам долго не удавалось. По-прежнему отряд Тюменева был неуловим. Вынужденный отчитываться пе-

ред своим начальством о результатах розыска Степана Тюменева и его товарищей, капитан Кашинцев писал в рапорте на имя генерал-майора Богданова: «Пока будут пристанодержателей отпускать в дома, никак разбойников найти будет не можно. Пристанодержатели ездят как на поля, так же и в чернь и лехко могут означенного разбойника довольствовать хлебом и платьем» (там же, л. 372).

В рапорте царского офицера мы находим чрезвычайно ценные признания, идущие вразрез с официальным взглядом на «разбои». В то время, как феодальная администрация прилагала огромные усилия, чтобы изобразить участников вооруженной борьбы против богачей-эксплуататоров как разбойников, как угрозу для общества, капитан Кашинцев, конечно, сам не желая того, был вынужден отметить готовность приписных крестьян разделить со Степаном Тюменевым и его товарищами самое дорогое, самое необходимое — последний кусок хлеба и одежду. И все это, несмотря на репрессии и террор властей, рассматривающих помощь бойцам отряда как самое тяжкое преступление. Последние слова процитированного выше документа убедительно доказывают, что крестьянская беднота рассматривала Степана Тюменева и его товарищей как своих верных защитников, оценивала отряд как вполне реальную силу, способную устроить богачей-эксплуататоров.

Почти три года отряд Степана Тюменева действовал на просторах современного нам Кузбасса. Однако противостоять регулярным воинским частям горстка храбрецов не могла. Глухая кузнецкая тайга навеки укрыла их следы. Царским властям так и не удалось поймать лихого атамана и его мужественных друзей.

Судьба Степана Тюменева очень схожа с судьбой многих предводителей «разбойных» отрядов крестьян и рабочего люда, наводивших ужас на эксплуататоров. Все они в конце концов или попадали в руки цар-

ских палачей и заканчивали жизнь на эшафоте, погибали на нерчинской каторге или скрывались от преследований в глухих, непроходимых дебрях тайги, в неприступных местах Горного Алтая и Горной Шории, среди суровых ущелий Саян.

Поражение одних не означало ликвидации такой формы классовой борьбы как

«разбой». В ряды бойцов за свободу на смену одним становились другие.

Давно исчез Степан Тюменев, но слава о нем, о его товарищах, о его мужественной борьбе с богачами, о его отваге, ловкости, силе, ненависти к эксплуататорам, щедрости к беднякам оставалась гулять в деревнях и заводских поселках Кузбасса.



Э. Савицкий

Поморы звали его Грумантом

Будет ли романтика?

Двое суток ритмично стучали машины корабля. Два дня кричали чайки, и удары волн звоном отдавались в гулких трюмах. Миновали остров Медвежий. И вот из зеленоватой воды поднялись вершины северных гор. Шпицберген, 11—12° широты до Северного полюса...

Нам, немногим пассажирам грузового теплохода «Доброполье», повезло: светило солнце. Подернутое дымкой, оно зависло над горами по-утреннему низко, сбивая с толку, где север, восток и запад.

Несколько часов ходу вдоль пустынных берегов, и пенная полоса за кормой стала изгибаться дугой. Корабль входил в большой залив. Под неярким августовским солнцем отдавала зеленью вода, заметно разделенная по цвету в ничем не разграниченных фиордах. По сторонам высились горы, бурые, каменистые, без дерева и кустика. На их вершинах белел снег. В двух местах прямо в море сползали языки ледников...

Разернувшись по створным знакам, теплоход шел в Грен-фиорд, над заливом гул-

ко разнесся его гудок. Как в кинокадре, все более крупным планом рисовались домики поселка. Чернел террикон — постоянный спутник шахт.

...Баренцбург — рудник, где нам предстояло прожить два года. Глаза с интересом и тревогой обшаривали берег, дома, террасой спускающиеся к заливу, производственные постройки, причал.

Хоть пароход был не пассажирским и далеко не первым в эту навигацию «грузовиком», пришедшим за очередной порцией угля, на пирсе толпилось много народу. Из телеграммы, обогнавшей теплоход, здесь знали, кто и куда прибывает, и всех встречали представители тех цехов, участков, куда приехали люди. Собрались на причале и алчущие встретить случайных знакомых, земляков, ожидающие посылок и самого ценного на острове груза — почты.

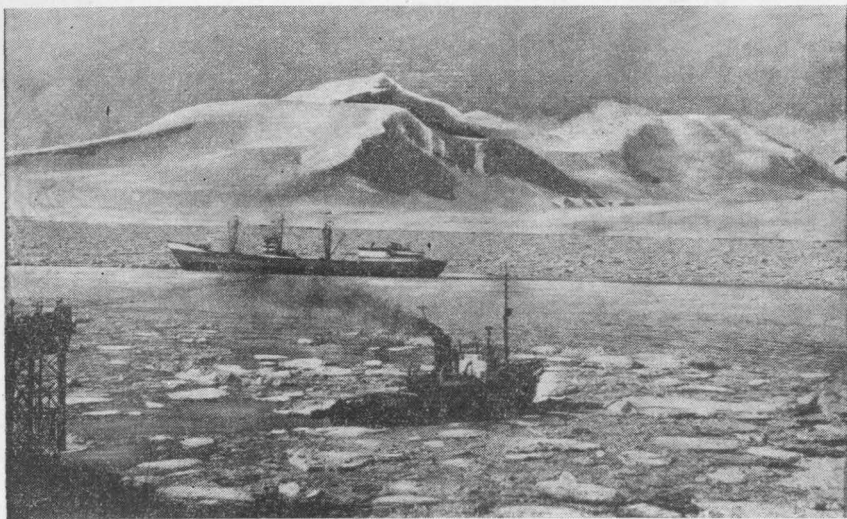
Путь, обозначенный на географических картах от Мурманска до Шпицбергена тонким пунктиром, вдоль которого написано: «Мурманск—Баренцбург, 1300 км», остался позади. Впереди дорога длиной ми-

нимум в 720 дней жизни на острове Западный Шпицберген. В ближайшей перспективе — подъем от порта до поселка по лестнице в добрых три сотни ступеней.

Когда преодолели этот первый барьер и, запыхавшись, осматривали поселок, поднявшиеся над нами горы, на одной из них —

шине которого шествует белый медведь. И вот кто-либо, только что вступивший в эту «ипостась» (прибыл в прошлую летнюю навигацию), вводит новичков в курс дела. И, конечно, не без того, чтобы не «загнать».

— Видишь на снегу дорогу, — рассказывает он приехавшему на рудник Пирами-



Начало навигации 1972 г. Первый пароход из Мурманска

самой высокой — заметили людей, которые, как букашки, карабкались вверх.

— Умный в гору не пойдет... — сострил кто-то. Старожилы иронически улыбались. Они, умудренные опытом жизни на острове, наверняка знали, что этот «умник», как и все прочие, обязательно пойдет в гору. И не только на эту, с королевским названием — Улаф. Будут они карабкаться по склонам туда, где цветут самые нарядные полярные маки, гнездятся горластые чистики. И даже те, кто ни разу раньше не становился на лыжи, нацепит их и с фотоаппаратом пойдет за оленями, что в изобилии бродят весной вокруг поселка.

Разные люди приезжают на остров: и молодые ребята, согласившиеся на любую работу, лишь бы «хлебнуть» северной романтики, и те, кто, только ступивши на пирс, бравировал, что приехал совсем не за туманом.

По неписаной традиции не проживший на острове года не имеет права именоваться полярником, как и нацепить значок с изображением земного шара, по северной вер-

да, — по ней ездят косить сено. Потом складывают его во-о-о-н на ту гору, — и рассказчик указывает на вершину над рабочим поселком, где и в самом деле как будто сложена пирамида из тюков прессованного сена.

— А зачем так высоко? — удивляется слушатель.

— Сушить! Там солнца и ветра побольше!

Россказней такого враля хватает ненадолго даже легковверным, но на первый взгляд можно поверить увиденному. Прозрачный арктический воздух, зеркало залива, обрамляющее его, скрадывают расстояния. И осыпь камней, извивающуюся как проселочная дорога по массиву самого большого на Шпицбергене ледника Норденшельда, можно принять за зимник. До той «дороги» добрых 15—20 километров, но создается иллюзия, что она где-то рядом. А вертикальный срез ледника высотой 100—120 метров, с которого периодически с шумным грохотом обрываются в залив новые айсберги, представляется уступом.

Такая же петрушка происходит и с выветренными на вершине Пирамиды породами. Поднятые прихотью природы почти на километровую высоту многометровые пласты песчаника вполне могут сойти за плиты сена.

Есть свой набор устоявшихся шуток и на руднике Баренцбург. Вроде той, что белые медведи здесь даже трактора за поселком переворачивают. Но за этой побасенкой есть доля правды. В неписаной истории поселка числится случай, когда раненый медведь напал на бульдозер, пытался «добыть» перепуганного водителя из кабины, но, зацепившись когтями за траки, погиб под гусеницами.

Без побасенок не обходится нигде, но постепенно вновь прибывшие добираются и до истины. Узнают, что один из советских

рудников на Шпицбергене, Баренцбург, дал первый уголь Северному флоту в 1932 году. Рудник Пирамида построен уже после войны. Прежний закрыт, но его поселок, оставленный горняками, можно увидеть и сейчас, когда плывешь от Баренцбурга к Пирамиде, разделенными 120 километрами водной дороги.

Примерно на половине этого пути в боковом ответвлении залива (в плохую погоду не заметишь) спрятался норвежский рудник Ланпирбюен, где добывают уголь хозяева архипелага. Там проживает и губернатор островов, кроме всего прочего наблюдающий за сохранностью уникальной природы Шпицбергена. При нем состоит для поддержания порядка один (!) полицейский. Правда, его права не распространяются на советских полярников.

Цветы-грибочки

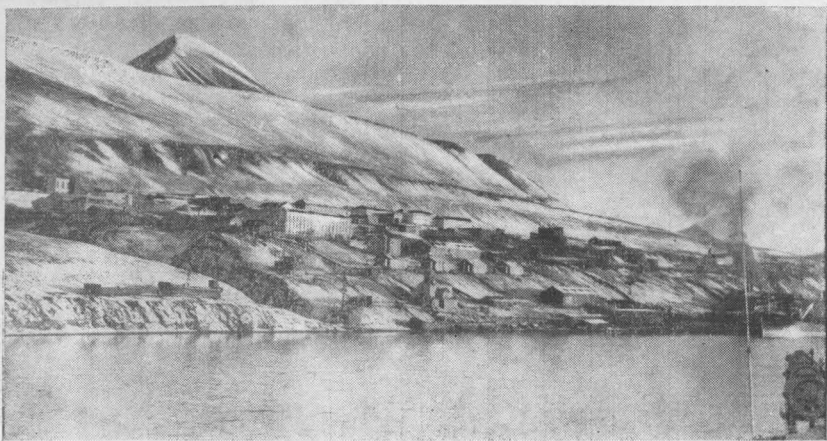
Природа Шпицбергена. Так, наверное, выглядела большая часть Европы и Азии, когда после своего господства все сокрушающие лавины ледников отступали на север. Они еще лежали в лощинах, обдавая округу холодным дыханием, а в расщелинах первозданно голых гор, на обнажившихся участках скудной почвы уже буйно цвели мхи, зеленели лишайники, робко пробивалась первая трава и белые и желтые головки полярных маков. Пора деревьев и кустарников еще не наступила. Подняться на плоскогорье — начинается поистине лунный ландшафт: километры и километры, покрытые искрошенным камнем, как бы прошедшим через гигантскую дробилку. И тишина. Тишина, какой не встретишь ни в глухой тайге, ни в степи. Там хоть травка шелестит под ветром, застрекочет кузнечик — тут их нет. Выше в горы, дальше от берегов пойдет вечный снег и лед, возраст которого — века. Так первозданно выглядит и суровая земля Шпицбергена.

Не растет на Груманте, как задолго до европейских первооткрывателей называли архипелаг русские поморы, ни единого деревца, ни кустика. Правда, есть на островах одно место, где можно почуять запах березки — это тот самый рудник Грумант, вернее, его жилой поселок Кольсбей. Привезли сюда полярную березку, и она прижилась. Теперь стланник распространился на небольшой площади. Видимо, пришлось по вкусу ему микроклимат этого местечка. В других — не растет. Гибнут привезенные с материка елочки и другие растения. По-

этому украшают полярники газоны в поселке... овсом! Сойдет снег — посеют. К концу лета на радость людям и коровам он наберет сантиметров десять высоты. На следующий год снова сеют. Кое-где, чтобы закрепить скудную почву, накрывают ее дерном с местной травкой и мхом — эти аборигены приживаются надолго.

В июне, когда в основном сойдет снег, начинается буйный цвет всего растущего. В укрытых от ветра долинах ковром поднимаются белые колокольчики мха, очень похожие на цветы ландыша. Шапками желтеют цветы растения, смахивающего на лютик. Колониями раскинулись кочки яркого зеленого мха, в период цветения покрытые сплошной шапкой... сирени! С той только разницей, что крестообразные ее цветочки не собраны в гроздья на кусте, а каждый в отдельности прочно сидит на чокче. Ну, и конечно, вся эта «сирень», «ландыши» обходятся без дразнящих запахов — здесь они ни к чему. Опыление проходит без насекомых. В отличие от обычной тундры, на острове нет ни комаров, ни гнуса.

Цветет все буйно и быстро. Надо за пару месяцев успеть отвести, поднять стебель, принести семена для продолжения рода. И если желающий сфотографировать цветы в ожидании солнечной погоды, что здесь летом редкость, пропустит хотя бы неделю, то скорее всего уже ничего не найдет... Остается лишь подняться выше в горы, где весна «отстает», или ждать следующего года. А вообще, глядя на зеленых аборигенов Шпицбергена, удивляешься их жизне-



Баренцбург в сентябре. На заднем плане гора Улаф

стойкости. Они пробиваются из каменных расщелин, где, кажется, и горсти земли не найдешь, «дрейфуют» с осыпями по голым склонам гор, которые очень активно разрушаются, растут прямо рядом с вечным льдом. И это когда земля оттаивает всего на десяток-другой сантиметров, а средняя температура июня $+1,5^\circ$, июля $+5^\circ$, августа $+4^\circ$. Причем, в июне и августе бывают приличные заморозки.

Как правило, больше всех удивляют приездных грибы. Да и как не удивиться, когда на $78-79^\circ$ северной широты без кустика и деревца, прямо из мха вылезают аппетитные, крепенькие, как у маслят, шляпки. Съедобные. Как уверяют старожилы, годятся в пищу все грибы, хотя многие из них очень смахивают на обычную материковую поганку. Правда, встречаются и сыроежки, и белые грузди. А на упомянутом Кольсбее есть даже подберезовики.

Следы бывают разные

В районе старых поверхностных сооружений рудника Баренцбург новичкам обязательно покажут старую английскую пушку, которая смотрит заржавленным стволом в устье залива. Любители увековечивать свои имена густо покрыли ее своими автографами. Есть здесь и следы другой артиллерии: в каменистом грунте зияют большие воронки, лежат тяжелые ржавые осколки снарядов. Неторопкая природа острова не

Но при всей приспособленности зеленъ острова явно требует охраны и бережного отношения. След вездехода на зеленом ковре равнины не зарастает долгие годы. И даже незначительные нарушения в тонком дерне сразу продолжают вешние воды — целыми пластами срывают образующийся годами тонкий зеленый покров и в неукрепленной корнями почве быстро размывают овраг. Поэтому норвежцы для геологоразведочных работ экспедиций, занимающихся летом поисками полезных ископаемых, ставят неременным условием перевозить грузы к месту работ, пока не сошел снег, либо выбирать пути, минуя участки с растительным покровом. И, тем не менее, следы пребывания «гомо сапиенс» встретишь во многих местах Шпицбергена. Это и отметки людей, с риском для жизни осваивающих студеной архипелаг, и следы варварства.

загладила следов войны, а лишь заполнила воронки водой. Такие привычные для них меты оставили о себе фашисты.

Советские полярники покинули рудники с начала войны. В 1943 году вошел в залив пиратствующий на северных морских путях фашистский линкор «Тирлиц» и, не обнаружив в поселке людей, разнес и сжег его своей артиллерией. Так, для «порядку».

Когда вновь прибывшим баренцбургцам показывают местные достопримечательности, то вслед за упомянутой горой Улаф обязательно покажут врезавшуюся в залив каменную косу, именуемую «норвежкой». Правильнее бы ее назвать «голландкой». И вот почему.

Когда китобойный промысел в Европе приобрел широкий размах, голландцы, англичане и норвежцы стали заходить далеко к северным широтам, в том числе и в район Шпицбергена, изобиловавший морскими гигантами. Голландские промышленники на этой самой «норвежке» создали базу для разделки китов. А прямо против косы в горе под Улафом на выходе угольного пласта штольней брали уголь для своей «салотопки». О тех временах остались памятью остатки развалившихся баркасов, фундаменты промышленных построек и масса гигантских костей китов, позвонки которых до сих пор любители сувениров увозят домой в качестве экзотических табуреток. Холодная земля острова хранит следы бездумного избиения некогда многочисленных финвалов, сейвалов и кашалотов. Черными пластинами валяется на «норвежке» китовый жир. А весной 1971 года внешние потоки вымыли из обрыва под косой целую китовую голову, мясо на которой много десятилетий хранилось, как в холодильнике.

Стоит на берегу, над местом бывшего «производства», старый крест над могилой китобоя, которому не довелось вернуться домой. Уходя каждый год под снег и вновь вытаскивая китовые кости и доски слипа для вытаскивания туш на берег. А сами киты... исчезли. И полярники наших дней как о чрезвычайном событии рассказывают друг другу, как столько-то лет назад в Грен-фиорд, выбрасывая свой романтический фонтан, зашел кит.

Не повезло и другому обитателю гренландского моря — моржу. Сейчас он — большая редкость в заливах Шпицбергена и находится под охраной.

Под такой же охраной — северные олени Шпицбергена, мускусный овцебык и некоторые редкие пернатые. Но в отличие от территории нашей страны, здесь разрешено охотиться на белого медведя. Их отстрел ведется по лицензиям, выданным губернатором, но это едва ли помогает сохранению редкого зверя. Каждый год на остров приезжают охотники-профессионалы из Западной Германии, Норвегии, Швеции и других стран. Они остаются в охотничьих домиках на зимовку, а с окончанием полярной ночи, когда косопалые начинают куда-то двигаться по своим медвежьим делам, бьют их

из самых современных карабинов с оптикой разрывными пулями и т. д. При такой оснащенности охотника, включая скутер, который проходит по любому снегу и развивает скорость до 80 километров, и первоначальной доверчивости зверя к человеку, промысел белого медведя трудно назвать охотой. Это скорее обычный бизнес. Охотники-профессионалы берут на сезон по 20—30 лицензий каждый. Правда, после зимы 1971-72 года трое таких профессионалов уехали с острова несолоно хлебавши. Один из них не добыл ни одной шкуры, а другие — несколько штук. То ли сказалась особенность той зимы, то ли это итоги многолетнего истребления зверя. Хозяев острова это наводит на мысль последовать примеру Советского Союза и запретить охоту.

Круглый год разрешена охота и на многочисленную еще нерпу. Мех ее не отличается ни мягкостью, ни теплотой, но тем не менее его красивая серебристая расцветка стала в последнее время модной. В итоге, кроме некоторых полярников острова, иногда добывающих для себя шкуру-другую, за ластоногих взялась созданная для этих целей промысловая компания. Думается, что такой «прогресс» в организации «шкурного дела» не увеличит поголовья нерпы.

Одним словом, в прежней и современной истории Шпицбергена не занимать примеров потребительского и просто хищнического отношения к его богатствам. «Сделав дело», ушли китобой. Когда угледобыча стала малоприбыльной, продали свой рудник голландцы. Так же поступил со своим рудником американский промышленник Лонгир (теперь это норвежский рудник Лонгирбюен).

Ведут геологоразведочные работы на островах (в частности, на нефть) различные компании, подчас с весьма подозрительной репутацией. Но каждая компания, пробурив скважину, держит итоги разведки в тайне от других. Норвежская газетка, выходящая на Шпицбергене, пространно комментирует, где кто работает, как и сколько завозится оборудования, как идет тяжба между компаниями и т. д. — все это, видимо, считается в порядке вещей. Не обходится и без казусов.

Собрались, например, летом 1971 года пробурить глубокую скважину на острове «Земля короля Карла» французы. Работы намечалось провести с комфортом. Для этого до начала сезона был возведен целый комплекс сборно-разборных помещений, соединенных крытыми переходами. Все из самых современных материалов. Но пока собирались бурить, в одном помещении

возник пожар. Крепкий северный ветер довершил дело — сгорел весь комплекс. Пришлось компании начинать все с начала.

Но далеко не все, побывавшие на Шпицбергене, оставили о себе недобрую память и подходили к освоению далекого Груманта так меркантильно. Многие известные полярники добирались до холодного материка для научных исследований и даже использовали его как промежуточную базу для броска к полюсу. Поднимается в норвежском поселке в холодное арктическое небо серый обелиск с именем Руальда Амундсена, чьи дороги, в том числе и последняя, на север начинались со Шпицбергена.

У слияния Грен и Ис фиордов врезается в их воды живописный мыс. На островке у его окончания с наступлением ночи путеводной звездочкой мигает судоводителям автоматический маяк (даже зимой, когда не пробиться здесь и ледоколу). Мыс носит имя русского помора Ивана Руальдсена. Еще в XVIII веке ходил помор «со товарищи» на Грумант промысливать морского зверя, пещца. Поправилась далекая земля охотни-

ку и поставил он здесь избу, где не оди-нажды зимовал с сыновьями. Провел тут Старостин в общей сложности 32 зимы. Причем, пятнадцать последних лет, после смерти жены, — безвыездно. Здесь и умер помор в 1826 году, тут и похоронен.

Недалеко от Кольсбея у самого берега стоит небольшой рубленый дом с табличкой у входа. На ней написано, что здесь жил в 1912 году русский ученый Владимир Александрович Русанов, попавший за революционную деятельность в немилость царского правительства. Геолог и полярник пришел на остров на 64-тонной шхуне «Геркулес». Провел большие исследовательские работы, обнаружил несколько месторождений угля и «застолбил» их для своих соотечественников. Но, отправившись на восток с мечтой пройти северным морским путем, погиб.

Много славных имен связано со Свальбардом, как именуют Шпицберген норвежцы. А следы зимовок, поселений отважных поморов оставлены здесь еще с XV—XVI веков и даже раньше.

Вода по-баренцбургски

Много своеобразия в жизни рудников, их жителей на острове, хотя, по обычным понятиям, это простые шахты. Но название рудник — не случайно. Здесь все свое: электростанция, система водоснабжения, грузовой транспорт, объемистые складские помещения, включая овощехранилища и даже... свинарники с коровниками.

Эти необычные «приращения» к шахте мало радости доставляют руководителям рудников, для которых в обычной обстановке все начинается с проходки горных выработок и кончается выдачей угля на склад или фабрику. А тут — коровы, их рационы, яйценоскость кур, привесы поросят! За-тоскуешь!

С окончанием четырехмесячной полярной ночи коров выпускают подышать свежим воздухом. И вот эти «священные животные», забыв о своем библейском спокойствии, задрав хвосты, с трубным мычанием всей ордой мчатся по снегу вдоль поселка, распугивая прохожих и останавливая машины. Пеструх с лаем провожают собаки.

Иногда это «дерби» доставляет удовольствие не только хозяевам. За последние годы все больше иностранных туристов желают познакомиться с красотами Заполярья, и каждое лето в заливах Баренцбурга и Пирамиды появляются теплоходы

с любителями экзотики. (Конечно, совсем неплохо взглянуть на ледники и айсберги с 6—7-палубного лайнера с бaramи, концертными залами и плавательными бассейнами). И вот когда один из них входил в залив, из поселка как раз галопировали, задрав хвосты, наши буенки. Мирно пасшиеся неподалеку дикие олени мигом померкли в глазах туристов. На палубу, вооруженные всеми видами оптики, кино- и фототехники, вывалили «сэры» и «леди», у бортов явно не хватало места: «Коровы на Шпицбергене — это потрясающе!».

Приезжающие в гости на наши рудники соседи-норвежцы тоже каждый раз просят показать им этих «полярников» мясо-молочного направления, с удовольствием осматривают породистый скот, говоря, что у них коровы железные, намекая на жестянки со сгущенным и сухим молоком.

Ценят практическую сторону деятельности фермы и наши полярники, особенно те, у кого с собой дети. Ребят в детском садике в первую очередь получают молоко, свежие яйца. Да и взрослые совсем не против получить на обед среди глухой полярной ночи блюдо из свежей свинины, яичницу или что-то молочное. Именно получить, а не купить. Бесплатное питание — одна из льгот на Шпицбергене. И хотя об этом все

знают еще до приезда на остров, первое время как-то непривычно уходить из столовой, откусав всего по потребности и не заплатив. Но к этому быстро привыкают, как и к заведенному тут порядку — самому отнести в посудомойку грязную посуду.

Неприятности начинаются по возвращении на материк, когда человек, на удивление соседям, по привычке собирает грязную посуду и норовит уйти не заплатив. Привычка — вторая натура. Уже совсем об этом не думая, я сам упорно складываю после обеда в стопку тарелки в столовой и дома.

Бесплатные «корма» не самая главная особенность жизни на Шпицбергене. Если механик рудника без восторга привыкает к тому, что нужно заниматься не только механизмами, работающими в шахте, но и позаботиться об электростанции, которую он видел дома разве что на картинке, то начальнику ЖКО, заместителю начальника рудника надо думать не только о жилых домах, общежитиях, их отоплении, работающем круглый год, но и о том, как обеспечить поселок и шахту водой. А сделать это даже в окружении льда и снега оказывается не так уж просто.

На Пирамиде, например, большую часть года получают воду из ледника Эльза. В сказочном голубом гроте внутри ледника сооружена маленькая дамба, перегораживающая ручей. Отсюда вода по трубам, зашитым в деревянный короб (зимой он служит тротуаром), идет в поселок. Плюс ко всему, воду надо подогревать, так как она без этого по дороге замерзнет.

Ближе к весне промерзший ледник резко уменьшает «подачу» влаги, и Пирамида берет воду из озера Голубого, куда тянется пятикилометровый короб с трубами и кабелем для их обогрева. Обслуживать все это «продолговатое» хозяйство в четырехмесячную полярную ночь, не считаясь с погодой, снегом и т. д., совсем не просто. А водоснабжение должно быть бесперебойным. Исчезнет вода — это значит, что не только шахтеры останутся неуемыми после смены, но и остановится электростанция, которой в сутки надо полторы сотни кубометров пресной воды. Без энергии же станет и быстро заполнится метаном шахта, остынут и лопнут трубы и радиаторы отопления. И случись такое зимой, когда рудники начисто отрезаны льдом от материка — страшной беды не придумать.

Еще больше хлопот у баренцбургских «водовозов». А там есть и такие, хоть не

разъезжают они в телеге с бочкой, а имеются шкиперами барж. Через трехкилометровый залив водит туда и обратно эти баржи с водой рудничный буксир. Все лето рудник питается водой из близлежащего ручья. Из него же заполняются зарытые в землю резервуары (опять же с подогревом). Но запаса при всей бережливости может хватить на 1,5—2 месяца. И всю зиму воду возят из ручья, что на той стороне залива бежит из живописного озера Биенда.

Сам ручей и «майну» во льдах залива берегут, как зеницу ока. Только выпадает первый настоящий снег, через залив на буксире-катере «И. Старостин» отправляются полярники. Они перекрывают ручей на всей его пятикилометровой протяженности деревянными щитами и засыпают сверху снегом. Не перекрой — вся вода расплывается по дороге огромными наледями и к берегу залива, где ее должны залить в баржи, не попадет.

У команды буксира работа — сохранить в замерзающем заливе водную дорогу от берега к берегу. И они круглые сутки с баржами или без них циркулируют по «майне»: три километра сюда — три обратно. Когда вокруг этой самодельной полныньки образуется метровый и более лед, то и на самой дороге появляется ледяная каша, а потом окатыши побольше, которые тут именуют «стамухами». Когда зимой плывешь на пароходе по «майне», создается впечатление, что сидишь в железной бочке, влекомой по камням — грохот, особенно в носовом отсеке, стоит, как в барабане.

Когда же «стамухи» становятся похожими на моржей и грозят поломкой винта, начинают действовать взрывники... Иногда поломку избежать все же не удастся. Снимать обломанный винт, который начинает трясти пароход, как паралитика, положено в доке, но горькая практика научила моряков обходиться подручными средствами.

Зима, если разрезанное «майной» ледяное поле залива простоит целым до прихода ледокола, считается удачной. Бывает и иначе.

По какой-то местной, шпицбергенской, закономерности в декабре или начале февраля наступает оттепель. В зиму 1971—72 года, например, несколько дней лил дождь. Резкая перемена температуры сопровождается, как правило, шквальными ветрами, дующими с переменной силой по несколько дней. И вот под самый Новый год ветер взломал ледовый панцирь фиордов. Перед Пирамидой после этого весь январь залив стоял чистым ото льда. Хоть навигацию на-

чиной. А в Грен-фиорд перед Баренцбургом набило «под завязку» многометровых глыб из океана. Трещали причалы. Лыдины громоздились друг на друга, образуя торосы. Самоходная баржа «Кама» с пробойной в днище оказалась на берегу. Одна из «водовозных» ушла на дно, другую вместе с буксиром «Коммунар» загнали льдом чуть не в конец залива. Восьмисотсильная машина оказалась абсолютно беспомощной против стихии. Скрипел и трещал рассчитанный на небольшой лед корпус, гнулись шпангоуты. Впору было команде подавать «сос», да кто его примет и поможет? В обычную зиму по льду залива на ту сторону перегоняют вездеход, но среди движущихся торосов к пароходу не добраться ни пешком, ни на лыжах. И, дождавшись прекращения подвижки льда, буксир самостоятельно стал пробиваться к пирсу. Поджимал запас угля — кончится топливо на пароходе, и застрянет он в заливе наглухо.

Двое суток длился этот ледовый «переход». Выбирая места между торосами, буксир бросался в ледяной хаос. Отходил и снова бросался.

Потом началась вторая часть «эпопеи» — прокладка майны. Взрывники подводили под особо большие льдины солидные заряды аммонита, а за ними метр за метром, день за днем пробивался «Коммунар». В поселке, на руднике тем временем началась

экономия пресной воды. Где можно — использовали морскую.

Прошла неделя битвы со льдом, буксир был почти у того берега, когда с него пришла тревожная радиোগрамма: «Получили пробойну!» Вода хлынула в носовой отсек. Команда приняла срочные меры — подвела к пробойне пластырь. Буксир вернулся и выбросился на берег.

После ремонта «Коммунар» все же добрался до того берега. На его палубе установили емкости для воды, позднее для нее использовали даже грузовой трюм, так как о проводке баржи не могло быть и речи. Такими огромными усилиями электростанция, а стало быть, и рудник были спасены.

А через месяц новый шквал ветра вновь разворошил лед в заливе и... целиком вынес в море. Перед рудником, как летом, плескалось чистое зеркало воды, по которому за 15 минут пересекая залив, спокойно скользил буксир с баржами. Правда, ситуация в заливе в эту зиму менялась неоднократно. Последнее «нашествие» торосов было в мае, и навигация, как обычно, началась с ледокола. А «Коммунару» предстоял капитальный ремонт.

Эта история — пример того, какими неожиданными сторонами на северных широтах может обернуться самая спокойная в обычных условиях работа.

Дома—на „ногах“, горняки—на лыжах

Где еще можно увидеть проходчика со всей его амуницией: самоспасателем, светильником и т. д., идущего на работу на лыжах?

В Баренцбурге новое угольное поле тянется под горой Улаф вдоль залива. Некоторые выработки бьют с поверхности, а ходу до них несколько километров. Когда в полярную ночь завалит дорогу снегом, добраться до места работы проще всего на лыжах. И вот тянется цепочка огней шахтерских «коногонок» к далекому шурфу (по одному в полярку ходить не разрешается).

Летом эта дальняя дорога имеет и свои преимущества: между делом можно набрать грибов, полюбоваться на оленей. А однажды к проходчикам повадилась попрошайничать пара песцов.

Выберутся горняки на свежий воздух съесть свой «тормозок», покурить, а серые, полублестящие после линьки зверьки

уже тут: сядут неподалеку и облизываются. Сперва они принимали подачки издали, потом привыкли брать сало, колбасу или кусок котлеты прямо из рук. Схватит, отбежит в сторону и съест, поглядывая на людей. Осеню шкуры у песцов стали пушистыми, нарядными, и они, словно понимая, что в таком дорогом южении от людей лучше держаться подальше, перестали близко подходить к проходчикам.

Всю полярную ночь «циркулируют» на лыжах или пешком смотрители ручья. Если появилась на снегу вода — забираются в ледяную траншею, колют лед, открывают воде дорогу. Вместе с камеронщиками-дизелистами насосных установок они по суткам дежурят в специальных помещениях на том берегу залива.

В походы по ручью, к насосной на озеро тоже не ходят по одному и обязательно с ружьем. Тут, вдали от поселка, в темноте нетрудно налететь и на белого медведя.

Само собой разумеется, что много необычного и в работе горняков, строителей, транспортников. На Пирамиде, например, шахтеры на смену не спускаются, а поднимаются — шахта лежит на 500 метров выше поселка, и до горизонтальных выработок «в карете» нужно подниматься по наружному бремсбергу — деревянной галерее. Такими галереями закрыты все поверхностные пути от террикона до угольного склада и «вокзала» с опрокидами, многочисленными разминками и в Баренцбурге. За зиму их так заваливает снегом, что лыжники спокойно проезжают над головой машинистов электровозов.

В отличие от Баренцбурга, где очистные забои ушли ниже зоны вечной мерзлоты, на Пирамиде все выработки и забои находятся в ней. В шахте круглый год минусовая температура. Подать воду на орошение — проблема. Она собирается и замерзает даже в трубах со сжатым воздухом. Обогреть шахту, создать плюсовую температуру — значит расплавить вкрапленный в породу лед, встречающийся целыми линзами. Само собой, что горнякам кроме обычной «робы» приходится надевать в шахту еще стеганку, ватные брюки. А те из шахтеров, кому надо часто нагибаться, «сооружают» себе что-то вроде широкого пояса из старых полшубков.

В баренцбургской шахте уголь выдают на-гора по наклонному бремсбергу, но добыча осложняется малой мощностью пластов, их газообильностью и горными ударами.

Что на острове возводят здания не совсем обычно, заметишь сразу: солидные каменные корпуса, как та избушка на курьих ножках, стоят на бетонных «ногах». На Пирамиде, например, почти во весь рост можно пройти между таких «ног» здания клуба со спортивным и зрительным залом, библиотекой и прочими помещениями.

На «ногах» стоят в Баренцбурге новая трехэтажная гостиница, детский сад. Их строительство начиналось взрывчаткой: рвали котлованы под бетонные башмаки для каждой опоры. Да и вообще любая стройка на рудниках начинается со взрыва — мерзлый грунт не поддается даже механизмам.

Изоляция зданий от грунта оберегает почву от растепления, а здание от деформации, посадки. Вечная мерзлота — коварный фундамент. Это очень хорошо видно на старых деревянных домах, которым периодически приходится «поправлять фигуру», убирать крен.

Нелегко достается сооружение любого здания строителям, особенно в «полярку», когда к темноте прибавляется мороз, снежные завалы и свирепый ветер, который может дуть по несколько дней. В это время с дорог — глубоких траншей, пробитых в снегу бульдозерами, — почти исчезают автомашины. Основным транспортом становится трактор с прицепом и ящиком для доставки подогретого раствора. Часто работа на стройке начинается с откапывания из-под снега того, что строят. Много выдержки, даже мужества, нужно строителям, но, увы, других условий Шпицберген предложить не может.

Живут в Баренцбурге десятка полтора метеорологов. Их станция с хитрой башней над крышей и антеннами локатора стоит на самом берегу. Круглые сутки замеряют они температуру воды и воздуха, уровень залива и толщину льда, направление и скорость ветра. Несколько раз в день взлетают из их заведения радиозонды, за которыми следит локатор. Все эти сведения по радио передаются в Мурманск и Москву. Район Шпицбергена — «кухня» погоды для Европы, и данные отсюда много дают для правильного ее прогнозирования.

Появились недавно здесь и представители Академии наук — астрономы. Они будут вести наблюдения за магнитным полем Земли.

В любом городе, поселке есть свои традиции. Передают их друг другу как эстафету и полярники Баренцбурга, Пирамиды.

Раньше сюда брали в основном горняков северных, сибирских бассейнов. Теперь работают донецкие, подмосковные шахтеры. Но раз заведенные порядки и привычки остались, особенно в организации отдыха, спорта, быта.

Кончается полярное лето, завершается в октябре пассажирская навигация. У солнца уже не хватает сил подняться над горизонтом, оно освещает залив, скользя за колыцом снежных гор. У пирса сверкает огнями последний теплоход. Гремит над заливом музыка оркестра. Причал забит народом. Пришли все от мала до велика. Шум, гам, объятия, слезы. Проводить последний пароклад — традиция, за которую не надо никогда агитировать.

— Отдать швартовы, команде по местам стоять! — разносят судовые динамики. Пароход медленно уходит во тьму залива. Что тут начинается! Оркестр гложет в общем крике. С берега и палубы звываются ракеты. С парохода (опять же традиция) летят в воду шапки, шляпы, куртки и даже плащи. (В отличие от Черноморья, где

уезжающие ограничиваются брошенной в воду монеткой). Долго взлетают ракеты, а в районе экспедиции на конце мыса полыхает прощальный костер.

Восемь месяцев полярники не увидят парохода. Может быть, чуть позже зайдет «внеплановый» пароход, полудодокольного типа (скажем, известная всем «Лена») с грузами на зиму, которые забыли или не успели доставить. Но в каком виде придёт этот «последний»? Когда в начале ноября, ломая лед, на рудники зашел теплоход «Лена», команде его трудно было заводить: вся палуба, борта, снасти в штурмовом море покрылись толстым слоем льда. Лед висел сталактитами, и матросы горячей водой снимали его даже со стекловидного мостика, возвышающегося над палубой на многометровой высоте.

Закончена навигация. Скрылись пернатые гости островов. В заливе, покрытом льдом, тишина. Лишь на майне в лучах прожекторов буксира появляются головы нерп. А иногда вдруг вынырнут неприятно-

белесого цвета спины здоровенных белух — северных родственников касатки. Выбрасывая фонтанчики брызг и пара, они подныривают под буксир и, появившись за кормой, идут дальше. Нерпичьи головы мигмом исчезают: для них эти гости — «персона нон грата».

К октябрьским праздникам полностью исчезает день. И только в полдень на юге чуть сереет небо. Над головой арктический Дед Мороз полощет свои простыни — бежит волнами северное сияние. И, видимо, потому, что сияние вспыхивает прямо над головой, как правило, не видно ярких красок спектра. И только когда небо загорается над южной частью горизонта, начинаются непередаваемые переливы красок от красного до фиолетового. Но это бывает редко. Не рады этой красоте только радисты. Сияние — верный признак непроходимости радиоволн. Прекращается поток телеграмм, и по местному радио с утра до вечера звучат магнитофонные записи — Москвы не слышно.

Хейя, хейя!

К началу зимы все вновь приехавшие обживаются, «притираются» в бригадах на работе. Их уже не пошлешь в буфет сдавать пустые бутылки, которые, как и вся тара, за исключением мешков, здесь выбрасываются. На острове, кстати, очень давно установлен полусухой закон — бутылка вина в месяц «на нос» — и basta! И люди начинают искать, чем занять по своему вкусу досуг. Надо сказать, что в этом им помогают с первого дня приезда.

Первая дорога — в вечернюю школу и самодеятельность, которая, как нигде, пользуется популярностью. Идет концерт самодеятельности — и в клубе не найдешь не только свободного кресла, но и места в проходе. Такого не бывает даже при демонстрации самого интересного фильма. Места в зале начинают занимать за несколько часов до начала вечера.

Концерты готовят коллективы участков (мелкие объединяются). И это не какие-нибудь несколько номеров, а полутора-двухчасовая программа (а разреши — будет и дольше), связанная композицией, сюжетом, темой. У людей как будто прорезаются дремавшие подсудно таланты. Попробуйте на материке силами участка дать концерт, в котором был бы хор, человек пять солистов, дуэты или трио, групповая пляс-

ка, а может быть, еще и оркестр народных инструментов или эстрадный. Тут не жалуют сил и времени на репетиции.

Судит концерты строгое жюри (по системе танцев на льду, только в основе не шесть, а пять баллов, которые делятся на десятки долей)... В условиях есть пункт: песни, стихотворения на местные темы ценятся особенно высоко. И, представьте, везде находятся поэты, композиторы и режиссеры.

В 1971 году победителем конкурса стал начальник РГТИ (и там не уйдешь от горной инспекции!) наш земляк Николай Иванович Гордеев, сейчас вновь работающий в Кемерове. Его песня «А как там у вас» в сопровождении автора, игравшего на аккордеоне, прозвучала очень лирично и эффектно. И, записанная на магнитофонную ленту, она со многими полярниками отправилась на материк.

Второе массовое «течение», куда вливаются обтершиеся новички, — спорт. Здесь участки также покомандно сражаются в волейбол, баскетбол, шахматы. Так же пылают страсти болельщиков и руководителей. Каждый день с окончанием работы под сводами спортзалов обоих рудников стучат мячи, рассыпает трели судейский свисток. Эти повседневные бои приводят к

тому, что норвежцы ничего противопоставить нашим баскетболистам и волейболистам не могут. Безнадёжно выглядят на площадках и команды заходящих сюда теплоходов.

С начала зимы на ледяных площадках звенят коньки. Для большинства донецких горняков это развлечение — новинка. Однако надевают коньки многие и потом долго ходят весьма живописной походкой, как после первой верховой езды. Но всегда находятся и «профессионалы». Создаются хоккейные команды, между которыми проводятся соревнования. Первую половину полярной ночи на катках светло, многолюдно, звучит музыка. Позже энтузиазм спадает — надоедает выгребать снег, плотно забивающий в буран коробки катков. А с рассветом первенство прочно забирают лыжи. Это самое массовое увлечение на рудниках.

Если в марте-апреле на лыжи становятся все, кому не лень, то истинные лыжники тренируются постоянно. Особенно высоко поднялись акции лыжников с приездом в 1970 году в геологоразведочную экспедицию мастера спорта Валерия Андреева. Под его руководством те, для кого ходьба на лыжах не была новостью, стали тренироваться всю зиму.

Лыжники проложили вдоль рудника и ночную трассу, осветив ее лампочками на треногах. Иногда им помогала луна, которая здесь зимой, как солнце летом, «циркулирует» по кругу. Тренировались всю зиму. В итоге баренцбуржцы в весенних соревнованиях не только смогли капитально «задавить» пирамидцев, но и составили ядро команды, которая поднесла спортивный приз и норвежцам.

Каждый год весной проходят соревнования наших и норвежских полярников по лыжам, настольному теннису, шахматам, а летом еще и по футболу. Учить норвежцев бегать на лыжах не приходится. В Лонгирбюене, например, даже первоклассники в школу лихо бегут на лыжах. И поэтому

почти традицией стало, что, проигрывая по остальным видам спорта, лонгирцы уверенно брали первенство на лыжне. С таким настроением приехали они и весной 1971 года в Баренцбург. Хозяева познакомили гостей с маршрутом. Утром в воскресенье под крики болельщиков стартовали мужчины на 20 и 10 километров и женщины — на 5 км. Но каково же было удивление гостей, когда финишировать один за другим стали наши гонщики. Первой у женщин пришла аптекарь Баренцбурга Анна Ланян. У мужчин вне конкуренции оказался Валерий Андреев. Соседи были шокированы — им не досталось ни одного первого и второго места на всех трех дистанциях!

В следующем 1972 году состязания шли на норвежском руднике. Хозяева к ним готовились со всей серьезностью, выставили много новых гонщиков, но опять из девяти призовых мест заняли только два.

Однако, надо заметить, что при всем накале страстей соревнования везде проходили в дружеской обстановке. Знаменитым по хоккею «Хейя, хейя!» норвежцы подбадривали на лыжне с одинаковым задором, как своих, так и наших спортсменов. При вручении кубков больше всех аплодисментов и «браво» досталось В. Андрееву. Это растущее год от года расположение к советским соседям сказалось и в том, что при входе в бар, где проходило чествование победителей, кто-то, мобилизовав свое небогатое знание русского языка, написал плакат: «Привьет». Позже, во время, так сказать, неофициальной части встречи все хором пели «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Вниз по Волге-реке». А когда «Коммунар» со спортсменами на борту отходил от пирса норвежского рудника, на берегу под мачтой с советским флагом толпились норвежцы, махали руками, шапками и кто-то кричал: «Приешайте к нам исче! Приешайте к нам исче!».

Само собой, что по части гостеприимства наши полярники при ответном визите не остались в долгу.

Чего не едят альбатросы?

Лыжные походы — одно из самых больших удовольствий на Шпицбергене. Собирается группа желающих, сообщают на рудник свой маршрут и... вьется лыжня на озеро Биенда или в долину Грендаль, или к реке Эльба. А то и за три десятка километров на Кольсбей, где можно отдохнуть

и переночевать в старом доме. Есть охотничьи домики и в других местах. За одними следят наши полярники, за другими — норвежцы.

Куда бы ни пошел, везде встретишь оленей, которые к весне похудели, стали какими-то горбатыми и в большинстве потеря-

ли рога. Не раз пересечет лыжня цепочку следов песца, а то и сам хозяин белоснежной шубы мелькнет и скроется за сугробом. Выше к горам можно увидеть белых куропаток, а повезет — и овцебыка.

Черных, заросших до самых глаз длинной шерстью аборигенов лучше рассматривать и фотографировать с почтительного расстояния. При всем их олимпийском спокойствии (овцебыки, особенно старые бы-

че». И монумент ожил. Причем, с таким неожиданным проворством, что собака с визгом шарахнулась в сторону, а на пленке у любителей, снявших эту сцену, бык вышел размазанным! Следом за лайкой быстро ретировались и любители экзотики.

Пробираясь по берегу залива, если лед уже взломан, вдоволь насмотришься на различных горластых чаек, альбатросов



Овцебык на Кольсбее

ки-одиночки, могут часами стоять на одном месте, как будто впадши в свою зверячью нирвану) они иногда выходят из себя. А учитывая, что вес этой «овцы» доходит до 600 килограммов и лезть в гору она может, что твой альпинист, заниматься корридой желающих не находится. К тому же у быка имеются опущенные в форме лиры острые рога, а спрятаться «матадору», увы, нигде.

Прошлым летом приехавшие на экскурсию в Кольсбей пирамиды обнаружили быка, стоявшего в задумчивости у старой электростанции. Зверь оказался на удивление спокойным и даже не фыркал предупреждая, как это принято у их брата, на все более осмелевших фотографов. Дело дошло до того, что они становились почти рядом с быком, чтобы попасть в экзотический кадр с выходцем каменного века. Кто-то даже пощупал мохнатого палкой — он стоял, как монумент! Но тут к фотографам подоспел рудничный пес Бельчик. Рослая лайка поднатерела в охоте на нерпу, ходила даже на медведя. Не раздумывая, пес подступил и к этой невиданной «добы-

(так здесь зовут по традиции прожорливых, величиной с добрую домашнюю утку, чаек-бургомистров), глупышей, нарядных нырков-краснолапок, кайр и прочих водоплавающих. На льду греются нерпы, морские зайцы весом полтора-два центнера, мех которых напоминает шкуру бурой коровы. Различные морские утки — не большая радость для гурманов. Как утку ни приготовь, даже содрав перья вместе с кожей, блюдо из нее упорно отдает рыбой. У нерпы же съедобна одна печень. Много приятнее в этом смысле белые куропатки.

Но не в гастрономических нюансах прелесть походов. Гораздо приятней смотреть на живых, а не жареных уток, когда они, просвистев крыльями, падают как утюги в воду, поднимая тучи брызг. Нарядный нырок, бесшумно исчезнув в волнах, через минуту-другую выскакивает на поверхность с добычей в клюве, иногда довольно крупной. Он долго трудится, отправляя ее в желудок. А не лезет — разгоняется, шлепая крыльями по воде, и встречной струей загонит-таки рыбину на место.

Мир пернатых самый многочисленный на

острове. Как только обтают склоны гор, прямо возле рудников в каменных кручах поселяется шумная ватага чистиков. Эти нарядные, черно-белые водоплавающие размером чуть больше скворца, селятся большими колониями. С утра до вечера разносится их стрекот у каменистых обрывов. Иногда в воздух срывается целая их туча, крик стоит неумолчный. Это, лениво помахивая крыльями, гнездовья чистиков «проверяет» альбатрос: не видно ли где яйца или зазевавшегося птенчика. Мелкие чистики ничего не могут сделать с пиратом и, летая всей стаей, поднимают возмущенный гвалт.

Альбатросы, которых еще зовут здесь мусорщиками, не прочь полакомиться яйцами и тех соседей, что покружнее: кайры, утки, крачки и т. д. Воинственных крачек с белой грудью, черной шапочкой на голове и раздвоенным хвостом за эти приметы зовут еще морскими ласточками. Правда, хриплый, как у старой вороны, крик и какой-то ломаный, словно в мультфильме, полет заставляют усомниться в их родстве с ласточками. Зависнув в воздухе, как жаворонок, крачка вдруг камнем падает в воду. Схватив добычу, спокойно продолжает свой полет. Стоит в районе их охоты или гнездовья появиться альбатросу, как вся группа отважно кидается на нахала. Отмахиваясь клювом, неуклюже уворачиваясь, интервент предпочитает бегство.

Не смущает крачек и человек. Если он появляется на берегу в районе их «охотничьей тропы», отважные птицы пикируют прямо на голову незваного гостя.

На восточном обрыве горы, зажавшей со всех сторон старый Грумант, каждое лето шумит тысячеголосый птичий базар. Основные его обитатели — кайры. Между ними скромно парами или в одиночку сидят всезасущие альбатросы. Крупная кайра — не чистик, и здесь любители чужих яиц вынуждены хитрить. Стоит толстой кайре сняться с гнезда (если так можно назвать голые камни), одно-другое яйцо исчезнет в желудке «скромного» соседа. Не обходится и без нахальства. Местные любители природы наблюдали, как пара альбатросов, не дождавшись, когда хозяйка гнезда сама от него отлучится, так делили свои обязанности: один хватал кайру за голову и вместе с возмущенной «наседкой» падал в воду залива, а второй тем временем спокойно съедал ее неродившееся потомство.

На Шпицбергене эти белоснежные, нарядные разбойники стали постоянными спутниками поселков, исправными их му-

сорщиками. Появляясь ранней весной, они с утра до вечера шарят по свалкам, возле столовых в поисках чего-либо съедобного. Полярным днем их трубные крики не утихают почти круглые сутки, изрядно мешая нормально выспаться.

Обладая потрясающим аппетитом, альбатрос без труда проглатывает кусок мяса в 300—500 граммов, лишь бы он имел продолговатую форму. В загнутом на кончике крючком клюве мгновенно исчезают куски твердого, как камень, сыра, колбасы и т. д. А подвернется возможность, альбатрос может так наестся, что не оторвется от земли.

Возвращаясь домой на остров, эти птицы безошибочно находят прошлогодние места кормежки. Строители в Баренцбурге за окном общежития устроили кормушку, куда охотно наведывались чайки и молодой альбатрос. На следующий год он в первый же день после перелета уже сидел на кормушке и громкими воплями требовал привычной подачки.

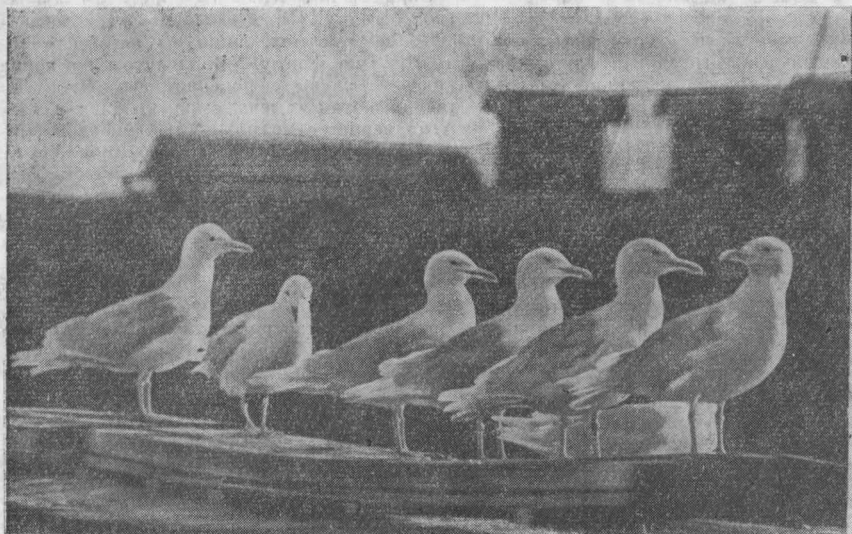
Вместе с альбатросами появляются желанные гости полярников — пуночки. Как эти крошки, сугубо сухопутные, преодолевают сотни и сотни километров через арктические моря — трудно сказать. По старой легенде летят они пассажирами на спинах альбатросов, что весьма сомнительно при «миролюбии» и аппетитах последних. Пуночка чуть больше воробья, ее так и зовут тут — полярным воробьем. Но в отличие от него она имеет свою незамысловатую, но очень приятную и мелодичную песенку, которой как бы возмещает полярникам приход весны. Прилетают пуночки, когда еще лежит толстый снег, и в их оперении тоже преобладает белый цвет. Мхи, трава, семена которых они питаются, еще под снежным покровом, и целые стаи пуночек пасутся на дорогах, роются в остатках сена у коровников. Но обнажается земля, и птицы исчезают из поселков — надо за короткое время вывести и вырастить потомство. Цвет самок, которым сидеть на гнезде, резко меняется, они становятся по-настоящему похожими на воробья. И теперь среди бурого мха и камней их, притаившихся на гнезде, можно не заметить и в пяти шагах. Такой же окраски и птенцы. И увидишь его обычно только тогда, когда он выскочит буквально из-под самого сапога и пустится удирать на тревожный голос матери.

Хоть и пуганая в заливе, вдали от берега менее осторожной становится нерпа. Когда во время открытия навигации наш «Коммунар» на буксире у ледокола «Капи-

тан Воронин» пробирался сквозь льды на Пирамиду, интересно было смотреть, как целые семейства нерп, потревоженные необычным шумом, по очереди скрывались в лунках, в которых они всю зиму не дают замерзнуть воде. Потом из лунки обяза-

тельно высовывалась морда любопытного наблюдателя.

Совсем нахально вели себя морские зайцы. Они лениво соскальзывали в воду только после того, как под ними от напора ледокола начинал трещать и коробиться лед.



Постоянные спутники полярников — альбатросы

Прощай, зима,—здравствуй, навигация!

Пригревает весеннее солнышко, тянет теплом с далекого юга, снег становится мокрым. Отходит пора для лыжников. Хотя подальше от поселка, на той стороне залива, снег лежит весь май, кататься по его остекленевшей поверхности — никакого удовольствия. Да и ездить по оврагам, где была лыжня, возле гор становится небезопасно. Снежные карнизы, мирно висевшие зимой на вершине склонов, начинают рушиться, сползать лавинами.

Постепенно природа берет свое: снег сбегает бурными ручьями. Пегие, как коровы, с ободранной зимними ветрами и снегом известкой и краской стоят дома в поселках, но полярники ходят радостные, оживленные. Кто в ожидании скорого начала навигации, кто радуется наступлению хоть и невзрачного, но все же лета. Весенними днями, пока снег еще не сошел, проходит традиционный праздник прощания с зимой.

Для полярников он — и прощание с четырехмесячной ночью. Возводятся фанерные городки чайных и блинных заведений, сооружается снежная горка, появляются «мобилизованные» с конного двора разукрашенные лошади. Нарядные полярники самозабвенно бьются мешками на бревне, как мальчишки, катаются с горки, хором атакуют столб с дефицитным призом на вершине, поют песни. Поднаторевшие за зиму самостоятельные артисты в костюмах из народных сказок не жалеют сил и голосов. Этот праздник всегда получается ярким, радостным. Кончился серьезный арктический экзамен, завершено первое испытание. И суть его не столько в каких-то лишениях, сколько в области психологии.

Не живут на рудниках люди в палатках. Есть тут, как уже сказано, клубы, библиотеки с читальными залами, какие найдешь далеко не на каждой шахте, имеются ве-

черные школы, где учится рабочих много больше, чем на обычной шахте. Кроме самодельности, к услугам полярников конкурсы прикладного искусства, фотолюбителей, викторины. (И опять остается только удивляться, сколько умельцев находится в небольшом сравнительно коллективе, когда глядишь на различные модели, резьбу и выжигание по дереву, эстампы, вышивки, оригинальные фотографии, сделанные руками забойщиков, проходчиков, шоферов, строителей). Но, тем не менее, в глазах людей можно увидеть грусть, задумчивость. Это отнюдь не означает, что все ходят, повесив нос на квинту — повседневное настроение скорее оптимистичное. Просто условия, грусть по дому заставляют чаще чем обычно задумываться. Фундамент этим чувствам начинает закладываться с дальней, непривычной дороги по холодным морям, тоскливого крика чаек над серыми, пустынными волнами, штормовой тропки, на которую так щедры эти моря. Диковатый, необжитый вид островов людям, привыкшим к шумным, зеленым городам, тоже не повышает тонуса.

Если ты не турист, то и природа здешняя не сразу начинает радовать. Представьте: после жаркого, солнечного Донбасса, холодное, в основном пасмурное лето, когда облака, плохо отделяемые от тумана, тянутся буквально над головой. В такой день, подивившись на Пирамиде в шахту, на ее полукилометровой высоте можно попасть в ясную солнечную погоду. А под ногами — словно смотришь с самолета, — белое море облаков.

Потом на долгие месяцы исчезнет солнце, а электричество, да еще подчас с перебоями, — не самый лучший его заменитель. Засищит, старательно выдувая изо всех помещений тепло, запрессовывая все снегом, ветер, от которого дрожат стены, трещат крыши, а то и «с мясом» вылетают двери. Рудники наглухо отрезаны от материка. Случись что дома, туда не только не съездишь, но из-за магнитных бурь в эфире можешь и телеграмму получить с опозданием. И этот далекий дом, предприятие, город и особенно семья становятся такими родными, желанными, но... ничего не поделаешь. Большинство полярников живут на острове без семей (как на любой шахте, здесь мало женской работы). Некоторые уезжают от жен далеко не с дружеским настроением, обещая и письма-то не писать. Однако даже эти сердитые мужчины очень скоро начинают вспоминать семейные радости в таких красках, что им могут позавидовать авторы сентименталь-

ных романов. Люди на практике познают значение слова «ностальгия» и несколько книжного выражения «семейный очаг».

С большой радостью, с особым торжеством отмечают на руднике случающиеся тут свадьбы или появление на свет нового гражданина. Вступивших в брак, как и новорожденных, торжественно регистрируют в консульстве, дарят им подарки и даже живые цветы, если они еще есть в теплице, обязательно поздравляют по радио. Создается впечатление, что товарищи по работе, знакомые радуются больше, чем сами виновники торжества.

Люди на острове проводят вместе не только рабочие часы, но, как правило, и живут вместе, отдыхают, занимаются спортом и т. д. И это, естественно, их сближает, как нигде, родит хорошую, сохраняющуюся потом годами дружбу. И, выражаясь газетным слогом, чувство локтя, взаимовыручки, дружеское участие помогают легче перенести невзгоды, делают теплее холодный Шпицберген. Есть тут, так сказать, узаконенные и прижившиеся формы, для выражения уважения своим товарищам. В раскомандировке участка можно увидеть наряду с общепринятыми Досками почета, вымпелами с именем победителей в труде, яркий стенд, на котором написано: «Поздравляем с днем рождения!» А на нем фотография и фамилию именинника. Обязательно поздравят его товарищи, руководители, пожелают счастья в этот день и по местному радио — такова устоявшаяся традиция.

И, тем не менее, в жизни «островитян» достаточно особенностей, заставляющих радоваться каждому событию, в том числе, наступлению весны, гораздо больше, чем в обычных условиях.

После долгой ночи в полдень с каждым днем больше и больше светлеет небо. Потом на час-другой становится светло, хоть солнце еще ходит за горизонтом. В эти короткие часы у столовой, на крылечках общежитий собираются оживленные, радостные полярники. Размахивают руками, смотрят на юг, где алеет от близкого солнца небо, разглядывают забытый за месяц тьмы залив и пробирающийся по майне буксир.

Подходит 20 февраля, когда первый раз выглянет солнышко. К этому готовятся как к торжеству. Фотолюбители извлекают аппараты и светофильтры. Особенно ретивые идут даже в горы, чтобы увидеть солнце пораньше и подольше, хотя мороз и ветер в это время быстро выбивают дух даже из-под полушубка. И все «молят всевышнего», чтобы день выдался безоблачный.

В полдень, когда на улице уже совсем светло, на всех буграх, сугробах, терриконах и даже на крышах стоят, как идолопоклонники, ожидающие явления солнца полярники. И вот в розовом мареве полдневного рассвета среди вершин сверкающих снегом гор в конце залива мелькает золотая макушка светила. Летят вверх шапки, щелкают фотоаппараты. Через несколько минут солнце исчезнет. Но этот день, как праздник, отмечают по местному радио, в стенгазетах, даже «молниях». Обязательно появится снимок первого визита светила в местную газету «Полярная кочегарка».

Следующее серьезное событие — первый пароход. О нем заранее знают все: откуда идет, что везет, когда прибудет и даже кто капитан.

С момента, как станет известно, что пароход, как правило, в сопровождении ледокола вышел из Мурманска, в радиопере не успевают отвечать на телефонные звонки: куда успел дойти, что сообщают с борта, не задерживают ли льдины, погода и т. д.

Это событие может происходить в самое различное время. В 1972 году в Баренцбурге первый сухогруз пришел во второй половине мая, а в 1969 — только в июле, и то долго пробивался вслед за ледоколом через тяжелые льды.

Независимо от месяца, погоды, времени суток, тем более, что вступает в права сплошной полярный день, на пирсе, берегу, коробах задолго до появления корабля начинают собираться представители всех профессий. И вот далеко от входа в Гренфиорд появляются мачты, узкой полоской рисуется корпус — шум поднимается неимоверный. По мере приближения парохода толпа растет, люди спускаются в порт, до предела забивают погрузочную площадку. Расталкивая льдины, теплоход движется к причалу. Сиплым ревом гудка его приветствует электростанция. В ответ над заливом разносится сирена. Первых посланцев с материка ждет королевская встреча.

Затем эпицентр страстей переносится в районы почты. Писем приходит на каждый рудник по несколько десятков мешков. Вездехот отвозит письма, газеты, журналы в спортзал. У завпочтой моментально находится неограниченное число помощников для разбора корреспонденции. Потом опять же добровольные глашатаи выкликают фамилии получателей, которые, столпившись по группам на «свою букву», дружно вопят как на переключке: «Здесь! Тут! Давай сюда!» Письма каждый считает десятками. Многие письма застряли в

Мурманске еще с прошлой навигации, но их бережно несут домой, чтобы в спокойной обстановке с чувством, толком насладиться «бородастыми» и свежими приветамии, поцелуями и новостями.

У пропагандистов, политинформаторов, ответственных за «красные уголки», своя забота — разобрать, подшить газеты и журналы за многие-многие месяцы.

Следующая важная веха в жизни баренцбуржцев и пирамидцев (а для некоторых и последняя) — первый пассажирский теплоход. Небольшой, всего на 90 мест, но современный «Канин» приходит обычно во второй половине июня. Но те, кто прибыл сюда два года назад, начинают готовиться к отъезду много раньше. Первая забота — приготовить ящик для личных вещей, — направляемых багажом, именуемый «юшаром». Есть легенда, что это название связано с Югорским шаром, вернее с пароходом этого имени, с которого штурмом снесло такие ящики, долго потом носившиеся по волнам. Эти «предметы первой необходимости» наиболее ретивые из отъезжающих заказывают плотникам зимой или еще с осени. Летом надо добыть мешковины, веревки для упаковки. В отличие от «солидных», легкомысленные полярники хватаются за подготовку в последние дни и бегают, высунув язык, из столыarki на склад, в магазин и т. д. Тут, конечно, обнаруживается, что либо все вещи не лезут в ящик, либо их не хватает, чтобы заполнить юшар. Тогда для запрессовки, чтобы груз не болтался внутри (таково требование к багажу), и ужасу домашних на материке туда забиваются старые ватники, изношенные штаны и валенки или срочно закупленный «впрок» в магазине стиральный порошок. Иногда помогают и товарищи по общежитию: стоит хозяину отвернуться, и в юшаре среди вещей могут оказаться ржавые гантели, приличное полено или шестерня из металлолома. В таком случае весьма возможно, что во время взвешивания на складе ящик потянет больше установленной жесткой нормы и придется развязывать насмерть затянутые веревки, распарывать упаковку, открывать крышку. Вдобавок, к удовольствию всех любознательных, из юшара извлекаются на свет зубастые сапоги или ржавый утюг. Благодарность отъезжающих не знает границ. А его друзья, которые сами вкладывали эти «ценности», сами тащили, запаковывали и распаковывали багаж, философски успокаивают:

— Не шуми, Вася, в хозяйстве все пригодится. Даже жалко выбрасывать. Вот бы жинка порадовалась!

Но в радостной обстановке ожидания встречи с домом, семьей, друзьями даже такие инциденты не могут сильно испортить настроение тем, кто, как здесь говорят, и во сне трубу видит. (Имеется в виду труба «Канина»).

Рано или поздно приходит день первой замены. Гремит оркестр, встречающий слегка смущенных, растерянных, а иногда изрядно потрепанных морем новичков. На дощатом настиле пирса толпятся все свободные (а, может, и не свободные) от работы. На вселенский шум сбегаются даже рудничные собаки.

— Вася! Колька! Здорово, Охрименко! — летят на швартующийся теплоход вопли тех, кто узнал земляков, товарищей по прежней работе. Потом этих земляков дружно хлопают по плечам, спине и спешат, минуя официальные церемонии, утащить в свое общежитие, свою комнату на постоянное жительство.

Через час-другой с меньшим шумом и гамом на борт «Канина» водворяются уезжающие. Большинство из них расстались с бородами, которые, по их уверению, так грели в стужу и ветер. Прошло два нелегких года, впереди радость многочисленных

встреч, а у многих бывших бородачей блещут слезы. Женщины, конечно, плачут все без исключения. Это слезы по Арктике, которую скорее всего больше не придется увидеть и наверняка не удастся никогда забыть. Как и тех, с кем прожил 700—800 дней, с кем рубил мерзлый уголь, кто в тяжелую минуту помог добрым словом и кому помог сам. Север не проходит бесследно, дружба, здесь родившаяся, не забывается.

Под крики и шипение ракет уходит первый пассажирский. С этого дня начнет он с недельным темпом появляться то в Баренцбурге, то на Пирамиде. За навигацию примерно половина полярников заменяется новичками. Но тем, кто приехал первым парходом, повезло больше прочих. Через два года они будут отдыхать дома летом, в отличие от уезжающих в сентябре-октябре. И здесь в первый свой год успеют узнать полярное лето. Пойдут со «старичками» в далекие походы по диковым горам и зеленым, цветущим долинам. Будут любоваться чистыми, как кристалл, ручьями и озерами.

Что ни говори, а весна с ее яркими солнечными днями и пусть не всегда удачное лето — самое лучшее время года.

Когда не заходит солнце

Потеплело на улице, засветило солнышко, и заметно поднимается настроение полярников. Идешь по поселку и не успеваешь отвечать «здравствуйте» — за зиму все успели перезнакомиться. И плюс ко всему здесь существует обычай: в части приветствий лучше пересолить, чем недосолить. Поэтому никого не смущает, что с одним человеком за день поздороваешься раза три.

Снег еще не сошел, а горняки, собравшись в шахту перед сменой в ожидании «кареты», толпятся не под крышей «вокзала», а на скамейках на улице. Греются на солнышке, говорят о делах, травят байки. Это своего рода «кают-компания». Какой-нибудь местный «Теркин» рассказывает:

— И пишу, значит, я своей жене: «Мария! Живу я хорошо, скучать некогда — всю зиму после работы ходил в десятый...» А она отвечает: «Правильно, Миша, делаешь. Вернешься домой, в институт пойдешь — инженером станешь!».

Рассказчика перекрывает дружный хохот.

Десятый — это номер дома, где расположено женское общежитие.

— Так девчат теперь в двенадцатый дом перевели!

— Напишу, что программу из-за слишком длинной ночи продолжили...

Благодать здесь и рыбакам, хотя их почему-то находится немного. Самая легкая добыча — страшенький, рогатый, пестрый местный бычок. Без большого раздумья он хватается любую наживку, в том числе крючок с красной тряпочкой, на которую обычно и идет лов. Немудрящую снасть забрасывают прямо с пирса или водовозной баржи.

Иногда заходят в залив косяки промысловой рыбы. Весной 1972 года наведалься пикша. Любители свежей рыбки быстро приспособили для ловли бечевки, веревки, самодельные крючки и таскали пикшу десятками килограммов. По поселку разносился запах жареной рыбы, и от нее воротили нос даже коты, обжевшиевшие пикшей.

А вообще рыбы в заливе много. Лучшее тому свидетельство — периодические ревизии белух. Иногда несколько десятков этих

многометровых громадин, растянувшись в шеренгу, заходят в залив и гонят перед собой напуганную рыбу в самый его конец. Там плотно обедают и не спеша движутся обратно.

Недалеко от Баренцбурга в Ис-фиорде с больших моторных суденышек норвежцы ловят все лето креветок. Прямо на корабле креветок варят, жарят, упаковывают в картонные ящики. Когда рыбаки подходят на рудник за пресной водой или загоняет их сюда штормовая погода, то стараются обменять креветок на хлеб или «уодку», до которых они большие охотники.

В ясную погоду вода залива расцветается парашютами, медез и их мелкого потомства. Перед штормом, как по команде, вся эта армия исчезает. А после того, как волны перестанут терзать берег, по всему его протяжению зеленеет вал морской капусты, среди которой можно найти выброшенного волной краба. И далеко разнится ни с чем несравнимый запах моря и водорослей.

Одна из главных льгот, которые дает лето, — возможность побродить по природе, отправиться в экскурсии по заливам на пароходе.

Нависают над водой самых замысловатых форм скалы, белеют дикие неприступные горы. Не передать словами красоту дворцовых гор на полдороге к руднику Пирамида. Природа, «высекая» колонны и арки, постаралась, чтобы они вполне оправдывали свое название.

Еще интереснее, особенно для новичка, побродить пешком. Обычно один из первых походов — на упомянутую уже гору Улаф. На ее вершине, высотой примерно 650 метров, лежит под камнем в целлофановом мешке «гостевая книга», куда заносят фамилии и впечатления здесь побывавшие. И какой новичок откажется от такой возможности!

С Улафа открывается чудесный вид на окрестность Баренцбурга. Из конца в конец просматривается залив, озеро Биенда. Сзади поднимаются две расположенные рядом горы — Грудь Венеры. Однако на Улафе можно попасть и в неприятность: налетят низкие здесь облака и, не увидав ничего, будешь спускаться вниз по крутой, весьма неприятной тропке в молоке холодного тумана.

До Груды Венеры с Улафа в ясную погоду на взгляд — рукой подать, а пойдешь — надоест перебирать ножками. Пути наберется десятка два километров (там и до Кольсбея недалеко), да не по равнине, а с горы в неожиданный овраг и обратно, че-

рез ручьи и речки. Но амортизация сапог и ног окупается увиденным по дороге.

Эта дорога — одно из направлений, куда отправляются за оленьими рогами, так как каждый считает своим долгом привезти домой сугубо северный сувенир. Но найти пару одинаковых рогов совсем не просто. Можно подобрать их целую связку, но они будут разные по размеру или «на одну ногу». «Бессовестные» олени не рассчитывают на собирателей сувениров и чаще всего один рог «сковырнут» в одном месте, а другой — бог весть где. Иногда рога портят песцы, обгрызая их голодной зимой.

В таком походе обязательно встретишь и бывших хозяев этих «сувениров». В начале лета они словно кем-то ободранные. Старая, не успевшая облезть шерсть висит клочьями. Рога еще не отросли, короткие, будто покрытые замшей. В августе-сентябре это уже полновесное украшение. И у «стариков», которые ходят обычно отдельно от остальных, рога настолько большие, что явно тяготят хозяина. Ударяясь в бегство, олень закидывает рога на спину, чуть не доставая ими хвоста, прыгает по диагонали вверх, и только после этого довольно тяжело бежит.

Летом в долинах, богатых растительностью, олени пасутся табунами от двух-трех голов до десятка и больше. Увидят людей и, делая вид, что их не замечают, пощипывая мох, подходят все ближе и ближе. Остановишься, присядешь — подойдут совсем близко и, вытягивая морды, принимают: чем, мол, пахнут эти двуногие пришельцы? Особенно любопытны игривые телята. Они бы, наверное, не против и «пощупать» гостей, но взрослые рогами подталкивают их обратно.

Еще интереснее отправиться пешком до Кольсбея, побродить между пустыми домами, где некогда жили наши горняки. А если вновь от залива подняться в горы и пройти с десятком километров — попадешь на Грумант. Здесь была сама шахта, а на Кольсбее — электростанция, угольный склад, жилье и подсобные цехи. Между поселками по берегу шла узкоколейка, больше километра которой проходило по туннелю, пробитому в нависшей над морем скале. Сейчас по нему не пройти — обвалится. Идешь горами — слева далеко внизу неоглядная гладь залива, где режутся различные водопадающие, справа — двухголовая вершина горы, покрытая снегом. У ее подножия поднятая ледником морена. По зеленой равнине между горами и обрывом берега лениво бродят олени. Можно встретить и овцебыка. Эта моховая зелень и

вроде сухая сверху земля обманчива. Ступишь — и чуть не по колено влезешь в жидкую глину. Иногда такие болотины против всяких ожиданий встречаются на склонах. У тундры свои причуды.

Таких маршрутов, где можно поближе познакомиться и подружиться с природой Шпицбергена, у полярников много. Имей только желание и не жалея ног, а летнее незаходящее солнце поможет использовать для походов не только выходной день, но и «выходную» ночь.

Меняется в короткие летние месяцы и ритм рабочей жизни на рудниках. Строители спешат заложить основу для строительства зимой. День и ночь идет работа в порту: разгружают различные материалы, лес, машины и заполняют трюмы кораблей арктическим углем. С каждым днем уменьшаются накопившиеся за зиму горы угля на складах. Зато на продовольствен-

ных складах растут штабеля ящиков и мешков. В овощехранилища на долгую зиму впрок засыпается картошка, свекла и другие овощи.

Постепенно все утрясается и на участках шахт и в цехах. Входят в курс дела новые руководители, мастера. Пополненные новичками, складываются бригады, звенья, смены, которым в этом составе работать до следующего лета, когда они опять наполовину обновятся.

И вот все кончено. Вновь прощально прогудел последний пароход. Руководители рудников облегченно вздыхают. Впереди долгая зимовка, но подготовка к ней позади. А это уже половина дела.

До возвращения домой осталось 240 дней — напишет на стенке вокзала какой-нибудь шутник. А 240 — это не 720, как было с начала. Сентябрь, деряб и май! Жить можно! Начинается новый цикл жизни рудников.

М. Кусникова

РЫЖЕХВОСТ

Его знал чуть ли не весь Академгородок. Он был самый красивый из выводка, самый крупный, самый пушистый, самый ловкий, и хвост у него выдающийся! Его мать, Краснушка, потому и назвала его Рыжехвостом, чтобы каждому было ясно, что самое примечательное в этом бельчонке — именно хвост.

Рыжехвост по праву мог гордиться своей наружностью. В ярко-рыжей шубке, которая меняла цвет в положенное время, с пышными кисточками на кончиках ушей, с живыми, чуть выпуклыми, блестящими глазами, похожими на веселые бусинки, Рыжехвост привик к тому, что все юные бельчонки им восхищаются, а сверстники немножко завидуют и даже побавляются его. А уж люди... Люди были совсем руч-

ные. Они приводили в лес своих детенышей и показывали им Рыжехвоста. Люди были добры к нему, и он любил устраивать для них представления с головокружительными перелетами с дерева на дерево в кружевной листве. Он с удовольствием позволял всем желающим, в том числе и нашей ватаге, любоваться своим нежно-серым брюшком и нарядной серой подкладкой огромного, похожего на султан, хвоста.

Хвостом наш герой дорожил чрезвычайно не только потому, что он составлял главное украшение его особы, но и потому, что хорошо знал: хвост — это важнейший, жизненно необходимый атрибут любой белки. Что стал бы он делать без этого удивительного парашюта, который безотказно



срабатывал минута в минуту, когда он совершал ошеломляющие прыжки с вершины дерева на землю, свернувшись в комок, а потом, как мячик, отскакивал и снова взмывал ввысь.

Рыжехвост слышал о печальной истории бельчонка, который попал в капкан и оставил там свой хвост. Поначалу все шло хорошо. Ранка быстро затянулась, бельчонок не испытывал никакой боли, — только некоторое смущение от своего непривычного вида. И вдруг он обнаружил, что утратил не только красивейшую деталь своего бельчьего облика, но и важное средство передвижения. Он уже не мог прыгать с большой высоты без своего надежного балансира. Он потерял уверенность и пытался замедлять прыжок, беспомощно растопыривая лапы гораздо шире, чем положено по правилам красивой акробатики, но все-таки прыгал неловко, так что однажды полетел камнем и, упав на землю, разбился.

Да, Рыжехвост не зря дорожил своим хвостом и гордо вздымал его повыше, изогнув над спиной, особенно, когда ел или отдыхал. И люди говорили своим детенышам: «Какой славный хвост у этого бельчонка! Рыжик! Рыжехвостик! Молодец! Умница!». И Рыжехвост твердо усвоил, что он красавец, молодец и умница, и был счастлив. Он любил свой лес, чувствуя себя в нем хозяином. Он знал каждый дуб, и какие на нем растут желуди: круглые, сочные или продолговатые, жесткие, которые есть не стоит — невкусно. Он знал, на какой ели можно полакомиться самыми крупными шишками и как легко извлечь из них семена. А поесть он любил. Не торопясь, усаживался он и горделиво заносил кончик хвоста над головой, потом, быстро-быстро перекачивая в ладошках неподатливый орешек, искал слабое место и... кряк! Готово.

Если бы Рыжехвост мог представить, каким чудом природы была четко продуманная система его зубов, он гордился бы ими не меньше, чем своим хвостом. Но он об этом не знал. Просто ему нравилось

грызть свою «добычу», и он с удовольствием красовался перед «зрителями», если они появлялись в лесу.

Маленький рыжий франт твердо верил, что для его, Рыжехвоста, удовольствия существует отлично устроенный сине-зеленый, сверкающий и благоухающий мир, в котором он занимает завидное место и безмятежно предается обычному бельчье-му времяпрепровождению: встает на рассвете и «умывается» передними лапками, приступает к утренней гимнастике и для начала кидается с вершины дерева головой вниз, растопырив лапки и управляя хвостом. На земле ищет желуди, грибки и другие лакомства, хотя при этом чувствует себя неуютно, так как длинный хвост немного ему мешает. Потому Рыжехвост вновь взлетает на дерево, проделывая по пути замысловатые акробатические коленца. Если видит людей, то играет с ними в прятки, уцепившись когтями за ствол дерева. Передвигается вокруг ствола винтом и любопытно выглядывает из-за укрытия: «Ты меня видишь?».

Одарив Рыжехвоста столь блистательными свойствами, природа не забыла наделить его и маленькой слабостью. Рыжехвост был истым чревоугодником. Он не довольствовался невинными орешками и грибами. Он разорял гнезда. Он обожал желток птичьих яиц, не пренебрегал и упитанными птенцами, и в погоне за лакомством терял здравый смысл. Он забывал об опасности и, покорясь своему пороку, совершал истинные безумства. Однажды Рыжехвост забрался в курятник лесничего и украл там большущее яйцо, которое пыхтя уволок в укромный уголок и с наслаждением съел. Он поедал за один присест пять, шесть, десять яиц какой-нибудь мелкой лесной птицы, и часто ему приходилось вступать в драку с защищавшей свое гнездо мамашей.

Дурная слава — вещь опасная, и вскоре, приходя в лес, люди говорили: «Какой он красавец, Рыжехвост! Как жаль, что он, разбойник, разоряет гнезда». Рыжехвост

не подозревал о возмущении людей. Он следовал законам леса, согласно которым жизнь требовала жизни. И лиса, и волк, и еж, и птицы — все покорялись этому закону, и Рыжехвост не был ни лучше, ни хуже всех остальных обитателей родного леса.

Однажды двое в ватниках присели у дерева и долго ели, пили и пели. Рыжехвост смотрел на них сверху в большом смущении, потому что они пришли некстати и прервали роскошный пир, который он устроил, обнаружив у подножия дерева маленькое гнездо с тремя теплыми яичками. Два он уже съел, а за третье только успел приняться.

Один из непрошенных гостей вытер ладонь о ватник и сказал: «Смотри-ка, скорлупа и желточек. Видать, тут ласка похотела или другой какой зверь. Не обрадуется птаха, когда увидит!». «Не, — сказал другой, — тут белок полно! Делать людям нечего, приваживают их, а они гнезда губят, хуже всякого хищника!».

Потом Рыжехвост видел их еще несколько раз. Они приходили с собакой. Собак Рыжехвост уже знал и не боялся их, потому что был для них недосыгаем, а нашей старой собаке Трезору вскакивал чуть не на голову.

Однажды Рыжехвост попытался поиграть с этими двоими в прятки, и они его заметили, но, видно, игра им не понравилась. Один из них сказал: «Вот, разбой-

ник! Наелся яиц и пошел куролесить». Другой сказал: «А хороша шкурка! Переливается вся!». Оба долго рассматривали Рыжехвоста, и он был доволен, что они тоже оценили его по достоинству и залюбовались им. Значит, стойло и покрасоваться. Он несколько раз перелетал с дерева на дерево и важничал от того, что он такой сильный и красивый. Потом он решил взглянуть, какое впечатление произвели его фокусы на тех двоих, внизу. Он уселся на ветке и с любопытством склонил головку, стараясь получше рассмотреть своих новых почитателей. Один из них куда-то ушел, а второй — добродушный, краснолицый толстяк, прислонился к стволу соседнего дерева и закурил. Рыжехвосту он понравился.

Человек тоже рассматривал Рыжехвоста, протянул к нему черную палку. Добродушный толстяк даже подмигнул рыжему красавцу, и тщеславный маленький Рыжехвост возликовал: «А, и ты тоже залюбовался! Еще бы, ведь такой хвост...». Дальше он не успел додумать.

Была вспышка. Был грохот. «Как во время грозы», — подумал, наверное, Рыжехвост и полетел вниз. Он растопырил лапки и пытался управлять хвостом. Наверное, он не боялся и все пытался зацепиться когтями за какую-нибудь попутную ветку. Наверное, он ничего не видел — небо, деревья, свет, все померкло. Остался только запах листвы. Рыжехвост упал у самого ствола...

Маврикий Резник

ПАРИ

Я его проиграл, это пари.

Проиграл и... несказанно рад. Потому что сделал для себя открытие, которое навсегда изменило мое отношение к Ее Величеству Природе.

Случилось это однажды вечером в начале лета. Скрипел за рекой коростель, кому-то приказывал идти спать перепел да начинала «распеваться», пробуя голос, какая-то неизвестная мне птаха.

Виктор, мой новый друг, инженер с КМК, весь обратился в слух. Я взялся было за топор, чтобы подрубить на ночь дровишек, но он знаком приказал мне не шуметь.

— Слушай... Знаешь, кто это?

Я знал только кукушку, жаворонка, коростеля и перепелку. А еще скворца и воробья. Скворца считал лучшим певцом-импровизатором. Голоса остальных птиц для меня сливались в один бестолковый и неумолчный гомон.

В это время где-то рядом в тальнике будго пастух ударил длинным ремненным бичом: «щелк!..».

Потом еще:

— Так!..

И полились, зазвенели неведомые мне трели, посвист, щелканье.

Виктор наклонился ко мне:

— Соловей.

— Что-о? Соловей? Откуда ему быть в наших краях?

— Да ты что, с луны свалился? Столько бываешь в лесу и не слыхал соловья?

Мы заспорили. И даже ударили по рукам: пари! Виктор запросил с меня немного. Если я не прав, то отныне и впредь буду внимательно слушать голоса птиц в лесу, на озерах, в поле.

— А теперь слушай!..

Он снова замер, и только рука его чуть заметно вздрагивала в такт песне: два... четыре... семь...

— Семь колен. Настоящий сибирский соловей.

Будто догадываясь о нашем споре, тот «расходился» все больше. Он то замолкал на минуту, то снова закладывал такие рулады, что мы затаивали дыхание. И все вокруг тоже замирало. Ночь стояла тихая, томная, завороженная.

Голос певца переливался, звенел, звал куда-то. По крайней мере, мне так казалось, потому что соответствовало настроению: захотелось вдруг кому-то что-то говорить, говорить...

Душой я витал в каком-то неведомом,

сказочном мире. Виктор вернул меня к действительности.

— Как видишь, браток, соловьи в Сибири водятся. Причем самые разные: соловей-свистун, соловей-красношейка. У этого семь колен, у тех — два, три. И вот что еще интересно: соловьи поют оба — и самец, и самка. А славу человек отдал ему, соловью. Сказать по правде, человек вечно торопится, — продолжал Виктор. — У кукушек кукует вовсе не самка, а самец. А называли птицу женским именем. Если кукушка станет куковать, ее сразу обнаружат другие птицы и не допустят до своих гнезд. Она шарится по чужим квартирам втихомолку. За то, что подбрасывает другим свое потомство, кукушку презирают. А ей, бедной, сочувствовать надо. Не может она, природой не дано, самой выводить птенцов: яйца несет два-три раза в месяц. Если ей самой выводить, она просидит в гнезде целое лето. Не зная чувства материнства — что еще может быть хуже! То-то и оно. Зато сколько пользы приносит кукушка лесу! Ни одна птица не возьмет в рот мохнатое страшилище — гусеницу шелкопряда. А кукушке — это лакомое блюдо.

Или перепела. «Спать пора» зовет петушок. Курочка в это время тихо-мирно на яйцах посиживает, а он ищет ее по всей ночи. А все одно зовут его перепелкой.

— Да мало ли дров наломал человек из-за своей поспешности, — досадно махнул рукой Виктор. Немного погодя, смягчившись, добавил. — Хочешь посмотреть соловья?

Я испугался: а вдруг спугнем. Виктор успокоил:

— Тут его гнездо, и он от него никуда не уйдет. И петь они будут попеременно, пока птенцы не появятся. Тогда уж им станет не до песен.

В тальниковых зарослях, метрах в трех-четырех от себя на фоне светлеющего неба мы увидели птицу чуть больше воробья. Потом я не раз видел ее на закате. Серенькая, невидная собой. А какой голосище! Бывало, утром, впотьмах еще, уда-

рит — будто пастух длинным ремненным
бичом:

— Так!..

Я тут же вскакивал в палатке. Поспешно собирал амуницию для утренней зорьки. Но не шел в скрадок, а будто заколдованный, слушал соловьиное пение, отогревая душу... Тогда и охотиться легче — не

жадничаясь, не лупишь подряд уток. Сколько крикашей, шилохвостых, связей обязаны тебе жизнью, дорогой мой сосед по острову!

Так я проиграл пари. И несказанно рад этому. Потому что с тех-то пор и почувствовал Природу в сердце своем.

г. Юрга

Слово — критике

Алексей Абрамович

ДОРОГА К САМОМУ СЕБЕ

В траве малютку-светляка
Нашел я как-то раз...
Его коснулся я слегка,
И он тотчас погас.

О, как похожи вы, слова,
На светляков живых!
Чуть грубо прикоснешься к вам —
И вы уже мертвы.

(«СЛОВА»)

Пять книжек за 13 лет... «Сердце ищет песню» — 1960 г., «Ступени к солнцу» — 1963 г., «Полос любви» — 1966 г., «Время первых дождей» — 1969 г., «Дикая яблоня» — 1973 г. В предпоследней из них Валентин Махалов в строках, поставленных здесь эпиграфом, рассказал читателям о том, как трудно поймать и поэтически претворить слова. А знакомство с его сборниками убеждает, что, может быть, в Кузбассе нет другого писателя, чье творчество развивалось бы так мучительно и противоречиво.

Слово «сердится». Да, Валентин Махалов в первой книге действительно ищет

песню. И в начале творческого пути, и потом, вероятно, это представлялось ему не очень-то сложным. По крайней мере, в первом сборнике лишь однажды заговорил он об обязанностях и ответственности поэта. «Мне хочется для других на этой земле оставить хороший и честный стих» («О славе»).

Слабости первой книги Валентина Махалова свойственны всем начинающим авторам. Если поэзия — «езда в незнаемое», оригинальное открытие мира, свой угол зрения, свой художественный прием, свое превращение слова в поэтический алмаз, то здесь стихи нашего автора, как прави-

ло, противостоят этим требованиям, открывают уже открытое, «известное».

Обращение к давно познанному вызвано, помимо всего другого, тем, что автор нередко идет не от своего опыта, а от литературы. Даже любовная лирика, казалась бы, вернее всего открывающая новое в душе поэта и его героев,— только вариация из ранее известных нам стихов невысокого класса. Любовь, взятую на среднестатистическом уровне, открывают, например, такие строки: «Я в трепетном свете твоих лучшей счастливее всех людей. Ты радостью стала и болью моей, жизнью стала моей» («Все чаще я думаю о тебе...»).

Валентин Махалов вначале, несомненно, не сознавал, что первая книга его прозаична, что ее содержание явно не просилось в стих. Наверное, он не думал и о том, что слово всегда «сердится» на того, кто не нашел верного содержания. Слова не только «сердятся», но и сопротивляются, оказываются в тексте случайными, неуклюжими. Таких слов и стихов в книжке «Сердце ищет песню» очень много, встречаются они и в последующих сборниках.

Так и получилось, как сказал сам Валентин Махалов, когда он уже перешагнул три книги: «Чуть грубо прикоснешься к вам (к словам — А. А.), — и вы уже мертвы». То является насильственно придуманный образ: «Ночь невесомыми губами застывших в небе облаков зубрит, как школьница, на память строку есенинских стихов» («День догорел в костре заката...»). То поэзия совершенно неожиданно приравнивается к бреду: «Человек бормочет какой-то бред, что-то вроде стихов...» («Человек сидит у окна...»). То в «высокое» содержание врывается чуждый здесь прозаизм: ярко светят звезды, и, вот, «светляк мигнул по-ихнему...» («Светляки»). И так далее в том же роде: «Не можем мы расстаться с нею — с привычкой делаться детьми». «А ведь эти стихи запоздалые там искали свое начало-то...» «Степенность обязательная помешала мне быть внимательным».

В поисках своего «Я». Нам не надо «ломаться» в поэтическую лабораторию Валентина Махалова, чтобы доказать: он сам был, правда, смутно, недоволен своей первой книгой. И не только ею. От книги к книге все возрастает количество стихов, в которых либо прямо, либо в скрытой форме начали возникать такие вопросы: что же такое поэзия? В чем смысл творчества? Могу ли я писать стихи, а если могу, то как их писать?

Чтобы найти в поэзии самого себя, нужно учиться мудрости народных песен. Это было совершенно ясно нашему автору. «Я этих песен запомнил много. Я собирал их по всем дорогам». Нужно безгранично любить и ценить свою родину. О ней, как источнике творческого вдохновения, Валентин Махалов написал немало произведений. «О берег времени бьется стих», — заявлял он. Значит, нужно познать и глубоко почувствовать биение пульса современности. Нужно учиться гражданскому мужеству и стойкости. Таким образом служит для него светлый образ погибшего на войне поэта Павла Когана. Нельзя писать, не сохраняя в себе молодости духа, яркости впечатлений, острого восприятия красоты действительности. О многом другом думал и писал Валентин Махалов, настойчиво стучась в двери поэтического мира.

По первой книге еще нельзя было судить — станет ли он настоящим поэтом. Но были и в ней не очень уж и большие и все-таки отрядные удачи, которые, очевидно, приносили автору известное удовлетворение и вели его вперед. Если не обнаруживалось отличных стихов, то нет-нет, да и появлялись броские образные детали: «Рубит головы секундам маятник-палач». «В дождевых стоят накрапах за окном кусты». «Огонь сначала шел лениво — как сытый конь хлеба жевал. Потом потряхнул косматой гривой и на дыбы свирепо встал». «Строка тяжелая, как дорога, дорога трудная, как строка». И даже очень хорошо: «Марево закатное легло, и уносят на рогах коровы солнце задремавшее в село».

Однако удачные строки сами по себе еще не рожают хороших поэтов. И не художник в счастливую минуту может предложить ту или иную из подобных. Что это было ясно Валентину Махалову, свидетельствуют последующие его книжки, где его поиски часто приводят к неудачам, но подчас и к тем удачам, когда можно всерьез рассматривать и приветствовать не только слово или фразу, а и целое произведение.

Как рождалась непосредственность. Покидать изведенное для непознанного очень трудно. Во второй книге — «Ступени к солнцу» — есть «Урок чистописания», оно характерно как попытка дать обобщение, глубокое по чувству и мысли. Но общезвестное опять потянуло автора вниз, и он не справился ни со смыслом, ни с формой стиха.

Или в третьей его книге помещена солидная поэма «Три декабря». Почему — поэма? Расширение жанровых рамок, как, очевидно, думал Валентин Махалов, должно было помочь ему оторваться от приземленных фактов, прийти к широкому обобщению. И снова ничего не получилось. Виновата не тема, а способ ее решения, заставивший нас вспомнить молодые годы советской поэзии, когда подчас всеми знаемое лишь обрамлялось технологией стиха. В «Трех декабрых» возрождены из-за недостаточной широты кругозора автора пройденные ступени первоначального поэтического познания жизни. Деревенский парень Мишка полюбил деревенскую девушку Зинку. А та уехала в город, стала знатной работницей. На беду она полюбила начальника участка стройки. Тот на производстве — молодец, а в быту — негодяй. Но Мишка продолжает любить Зинку. Конец поэмы не очень понятен. Одно лишь ясно: жизнь не кончена, будет еще Мишка счастлив. Содержание поэмы оформлено строками, строфами и рифмами, а поэмы в истинном значении этого слова нет, и наш сжатый пересказ право же ничего не ухудшает.

Дорога к самому себе, вернее, к тому, каким хочет определить себя Валентин Махалов в жизни и в искусстве, все еще продолжается. Он отступает от нее, ищет потерянные колеи. И нам не совсем удобно говорить применительно к нему о примелькавшейся истине: чтобы уйти от повторения сказанного, открыть свою оригинальность, надо стать непосредственным в своем мироощущении, вернее, открыть ему клапаны, засоренные различными посторонними веяниями.

Как у Валентина Махалова совершается такой переход, мы не знаем. Только у него все чаще стали появляться стихи, в которых чувствуется свободное дыхание, непредвзятость. Стало очевидным обращение к темам, не обязательно так уж оригинальным, но идущим от опыта жизни, от пережитого самим поэтом. Так появилось, например, стихотворение «Руки» — воспоминание об отце лирического героя. В нем просто рассказано о человеке с натруженными руками, герое надежном, не раз проверенном в боях и труде. И сыну радостно ощущать в себе отцовскую силу, наследовать его могучий, прямой, отважный характер: «Во мне с тех пор бушует кровь горячая, не стылая. Я весь наполнен до краев земной отцовской силою».

Непосредственное и общее. Так и пошло дальше. Все больше и больше становится стихов, даже повторяющих кем-то уже сказанное, но произносящих и что-то свое. Вот «Праздник зимы», — произведение, казалось бы, на «истертую» тему. А сколько в нем искреннего личностного восприятия и какими непосредственными оказываются строки: «увозит зимушку-зиму от нас лихие лошади». Вот «Ветер» — почти ода, прославляющая движение жизни на земле, волю человека к борьбе, к проявлению высокой активности. Поэт нашел свой мотив, пусть еще во многом скромный, но совершенно искренний, рожденный откликом на то, что он видел в действительности. И уже не нарочитый пафос звучит в его строках: «Здравствуй, ветер, — товарищ жиз-

ни, враг покоя и тишины!». «Капля», «Сосна», «Старики», «Мальчишки», «Есть в наших отношениях черта...» — вот далеко не полный перечень стихотворений, где Валентин Махалов, отбросив предвзятость, стремится по-своему рассказать о мире.

Только ведь и мера непосредственности — не аршин, которым можно все измерить, выверить. «Не знаю, что я буду петь, но только песня зреет», — сказано давно, красиво и далеко не верно. Поэзия века умеет обобщать, типизировать, открывая единство частного и общего, индивидуального и типического. А в нашем веке философия и эстетика, политика и искусство взаимодействуют особенно активно. Пристрастность поэтических решений особенно свойственна, разумеется, литературе советской.

Можно было бы проследить по пяти книгам, как к Валентину Махалову приходит ощущение непосредственности, как он приобретает свободное дыхание и начинает проявлять свою поэтическую индивидуальность. Однако для убедительности контраста можно сразу обратиться к сборнику 1973 года «Дикая яблоня». Пока не появилось новой книги, он знаменует известные итоги. И, оценивая их, мы видим, что Валентин Махалов что-то искал, чего-то достигал и снова заблуждался, прокладывая дорогу к самому себе, дорогу к поэзии.

Первое стихотворение в книге 1973 года называется «Земляника». В нем нет, казалось бы, ничего особенного, никаких таких глубокомысленных суждений. А герой в нем близок нам своими чувствами и стремлениями, содержание стихотворения представляется близким и родным. И эта красноликая земляника, спрятавшаяся в траве, похожая на капельки солнца, и это гудящее берестяное донце, куда падают ягоды, и это острое ощущение героя, вернувшегося в знакомые с детства места, — все легло в стих с той естественностью, что исключает всякую надуманность. И осмыс-

ление рассказанного и показанного тоже бьет в цель: «Помоги мне, сторона родная, здешним мне остаться повели, земляника, ягода лесная, жаркая кровиночка земли». Есть «секреты» творчества, хорошо разведанные большими художниками. Можно написать: «Я твою весну и твою большую веру в сердце пронесу» («Баллада о безумом солдате»), и читатели ничего не почувствуют, а вот слова «жаркая кровиночка земли» вдруг откроют нам душу героя с его неизбывной любовью к своей стране, и то, что в ранних стихах воспринималось как осведомление, теперь оказалось теплым, сердечным.

Возникшая непринужденность, свобода выражения, ничем не затрудненное дыхание дают возможность Валентину Махалову создавать стихи, где вместо открытых типологических обобщений внешнее повествование включает в себе «подводное течение», второй текст, в создании которого участвуют и читатели.

Раньше поэт часто писал о любви. А слова не слушались его и получалось холодно и равнодушно: «Мне сегодня грустно почему-то без твоих хороших, нежных писем» («За окном рябина разбросала...»). Теперь нет ни слова о любви, да и речь-то идет не о девушке, подруге, жене, а просто о яблоне, и не о какой-то там особой, обильно плодоносящей, а о нашей, сибирской, дикой. И, кажется, объяснись герой с любимой примерно в такой же задушевной интонации, но с поправкой на обстоятельства, любимая отозвалась бы гораздо более взволнованно, чем на заявление, что она сияет лучами:

Далеко ей до яблонь породистых,
Что собой украшают сады.
Хоть на них и похожа вроде бы,
Но помельче, погорше плоды.

Чем она и богата, и счастлива,
И какие в ней силы бурлят,
Понимают лишь солнышко красное
Да родимая мать-земля.

А она, как дитя незаметное,
Одинокое здесь на версту,
Даже самую малую веткою
Отвечает на их доброту.

Стихи, как видим, самые обыкновенные. По размеру и ритму строки здесь традиционные, «некрасовские», далекие от современных ритмических перебоев и смещений. И тема самая обычная. Но почему же от них веет какой-то теплотой и задушевностью, почему они неизмеримо выше стихов того же Валентина Махалова с громкими возгласами и призывами? Суть дела в том, что форма подчинилась очень широкому содержанию, и замечаем мы не форму, а сложное, «подводное» сопоставление: и яблоня хороша и близка нам, как дитя сибирской земли, и человек этой же земли, скромный, незаметный, очень сдержанный, но потный достоинства, очень дорог нам. Он будто и суровый, и не очень общительный, но готовый всей душой отзываться на доброе слово и дело, бесконечно благодарный за дружбу и товарищество, и сам отдающий все тепло людям.

Стихов хороших, отмеченных печатью своеобразия, в последней книге поэта немало («Галчонок», «Там, где ели и сосны шумели...», «Тучи свет заполонили...», «Голубые ставеньки...», «Я тогда объезжал лошадей...», «Да, час пробьет...», «В пригоршни воды студеной...» и другие). Вместе с удачными стихами из прошлых сборников («Гончарный круг», «Яя», «Кедры», «Золотинка», «Ветер») они составляют то, что знаменует поэтический капитал поэта и что может служить основанием для дальнейшего развития его творчества.

Повторенье — не мать ученья. Пословица, прочтенная без отрицания «не» всегда справедлива, исключая творческую деятельность. Тут повторение совершенно противопоказано, оно скрывает за собой либо серьезный кризис, либо определенную заминку и в без того необычайно сложном труде писателя.

Речь идет о повторении уже усвоенных

ранее мотивов, о возвращении от достигнутого к тому, что и когда-то было поэтически несовершенным, и к тому же оказывалось уже пройденным этапом. Если иметь в виду последнюю книгу Валентина Махалова «Дикая яблоня», то самое огорчительное в ней, — как раз повторимость второго рода, очень опасная, потому что она не требует напряжения творческих сил, задерживает развитие и усложнение эмоций поэта, лишает его оригинальности, о которой так возвышенно писал он в стихотворении «Стихи. Они — как облака».

Минуя другие произведения, сошлемся на самое крупное по размерам и по значимости содержания — «Мне снится небо», обозначенное как фрагменты из поэмы. И, хотя очень неприятно говорить о неудаче Валентина Махалова, особенно ощутимой потому, что в поэме речь идет о самом дорогом и близком для всех нас — о жизни и подвиге первого в мире космонавта, — говорить о ней необходимо открыто и прямо.

Прежде всего в поэме наблюдается повторяемость первого рода, и она уже вызывает настороженность и досаду. Лучше было не вводить в новый сюжет отдельные стихотворения, опубликованные прежде. Еще лучше было бы оставить их в стороне вообще, поскольку «Начало» и «Если у нас родится сын» опубликованы десять лет тому назад. Они хотя и лучше самых первых стихов поэта, но все же несут на себе следы прозаической упрощенности. Валентин Махалов необоснованно облегчил свою задачу вставкой старых стихов, а они не могли не повлиять отрицательно на общий строй поэмы. Вполне естественно, что все в ней не выглядит так элементарно, как было 13 лет назад в других стихах. Можно, в конце концов, войдя в пору зрелости, писать очень гладкие произведения и самой общей значимости, повторяя в них либо уже сказанное другими, либо предлагая в технологически хорошей форме зарифмованные лозунги, гораздо лучше воспринимаемые вне поэтических претензий.

Строки вроде следующих — стихи только по названию: «Мне снится небо... А сквозь эти сны ракеты погромычивают басом. Опять России верные сыны выходят на космические трассы».

И вот что интересно: идут в поэме одна за одной гладкие строфы, но теперь просчеты, связанные с крайне абстрактным решением темы в своей «усовершенствованной» форме, выглядят еще откровеннее. С самого зачина голос, приподнятый на пафосное звучание, когда смысловая сторона произведения не выверена, звучит неверно: «Я к этой теме подходил с тревогой и долго путь нащупывал, пока взволнованно, решительно и строго легла в поэму первая строка». Даже в отличном произведении его автору не следовало бы уверять, что он написал что-то хорошее («взволнованно, решительно и строго»). Взволнованность-то есть, однако Валентин Махалов не миновал строф и строк антипоэтического звучания. Вот, к примеру: «Кто первый на земле придумал чудо и удивленье — следствие его? Где тот волшебник? Кто он? И откуда его происходит волшебство? Он — человек! Я в это свято верю». Напрасны вопросительные и восклицательные знаки, определяющие равнение на пафос. Уверять нас в том, во что мы и так верим, нет никакой целесообразности. Далее, содержание, не облеченное в нечто конкретное, оказывается сродни откровенным прозаизмам. И появляются строки: «Зачем же ты, небо, зовешь меня?.. Пресекая вопрос, в ледяной мгле медленно тает ракетный след». А нам пресекать вопрос не приходится, нам непонятно, как это реактивный след может пресекать вопрос?

Все это не пустяки, не придирки к частным просчетам стиля. Они вполне согласуются с общим просчетом: нет в поэме ничего, о чем читатели могли бы сказать: вот Валентин Махалов поведал что-то новое, вот мы узнали о Юрии Гагарине еще что-то, и образ его приобрел еще несколько живых черточек. Увы, все остается в

рамках толкования общей темы и весьма общего расплывчатого содержания. Раздумья героя не выделяются из границ общих суждений. Отступление в древность с рассказом о том, что мог чувствовать первобытный человек, глядя на «первобытное небо», ничего впечатляющего не дает. В крайне отвлеченной форме решается вопрос о том, кто вселил в нас «жажду неба». В четвертой главе доказывается, что человек, познавший землю, еще недостаточно знаком с небом. В пятой, опять-таки в общей форме, мы знакомимся с давно известными моментами из биографии Юрия Гагарина. В шестой, в качестве эпилога, приводится ранее опубликованное и посредственное по исполнению стихотворение на тему о том, как герой предлагает своей любимой назвать сына, если он родится, Юрой.

Не густо. Может быть, это было бы приемлемо как непосредственный отклик на трагическое событие, когда торопливость была вполне объяснима. Но ведь прошли долгие годы. Мы многое узнали. Из статей и очерков, воспоминаний мы уже как-то представляем сложный и очень разносторонний образ космонавта. А Валентин Махалов продолжает «работать» приемами и способами, характерными для его первой книги.

Повторяемость — опасная болезнь, если ее не замечают. Поэт либо топчется на месте, либо (что бывает чаще) катится вниз, и очень трудно, невероятно тяжело ему возобновить движение вперед. Но в творческой биографии Валентина Махалова отрадным является тот факт, что он, опять-таки неведомыми для других путями, осознанно или «инстинктивно», сделал отчаянный рывок, нашел указатель к верной дорожке. Он обратился к прозе, не той, что стоит вне художественного ряда, а к той, которая равна поэзии по своему образному наполнению.

Путь к поэтической прозе. Многие годы Валентин Махалов писал стихи, и вот, казалось бы, совершенно неожиданно он

опубликовал повесть «Высокая Грива». В ней открылись удивительные на первый взгляд качества: в стихах писателя до последнего времени было немало прозаического, а вот в повести оказалось так много поэтического, что невольно возникла мысль: а не ошибся ли Валентин Махалов, утвердившись в уверенности, что он — поэт. Не прозаик ли он по самой сути своего интеллекта?

Нет, не ошибся. Мы верим, что он создаст еще много хороших стихов. Но преодоление повторяемости, поиски новых путей открыли ему возможность для приобщения к новому жанру. Да и не только ему. Так, очень хороший лирик Виктор Баянов, почувствовав, что его стихи последнего времени варьируют ранее созданные, написал такую интересную повесть, как «Не красным летом». От стиха — к хорошей прозе — путь вполне закономерный. Так что не будем рассуждать на тему — что лучше: проза или стихи, — а просто посмотрим, что собой представляет повесть «Высокая Грива».

А она, бесспорно, лучше, чем стихи на эту же тему. И, что для нас очень важно, стихотворение «Высокая Грива» как раз и толкнуло поэта к новому жанру. Дело происходило, по-видимому, так: в 1969 году в сборнике «Время первых дождей» появилось стихотворное произведение. В нем есть лишь одна поэтическая деталь: «Речонка бежит торопливо в кудрявых, как дым, берегах». Все остальное находится в полном противоречии со стремлениями поэта дать нам предметное представление о своих родных местах. Пейзаж не показан, а сообщен словами из каталога: «В Гриве есть гордое что-то». Что гордое — неизвестно. «Стоит Грива в цветастой весенней короне, сомкнув золотые уста...» — слова самого общего значения. «Неведомо мне, — продолжает поэт, — за что ее бог возвеличил в родимой моей стороне». Если неведомо поэту, то читателям — вдвойне. Нет в стихотворении зримой Высокой Гривы, что не мешает авто-

ру дать высокое обобщение, совсем не согласующееся с содержанием стиха: «Мне дорого все в ней и мило. Лишь только на Гриву взойду, мне видится сразу полмира, и вся моя жизнь на виду». Не сомневаемся, что поэт действительно почувствовал все это, но только ничего не передал нам, потому что ни «цветастая корона», ни «золотые уста» никакого образного впечатления не дают.

В повести мы не найдем высоких определений высокой значимости Высокой Гривы. А мы ее видим. Она открывается в зримой образности пейзажа: «Отшумели пагодковые воды. Вошел в свое привычное русло Елдежик. Пришла пора пестиков на Высокой Гриве. Грива залохматилась сильной молодой травой, и на солнечных ее склонах взял силу ранний земляничный цвет. Закудрявил, скрыл в своей буйной вешней кипени гнезда-беседки старый вяз и вечерами, темнея от печали и тревоги, ждал нас в широкие объятия своих корявых ветвей».

Могут сказать, что жанр повести дает больше возможности, чем небольшое стихотворение. Это неверно. Хорошее стихотворение (вспомним «Землянику») по законам поэтической концентрации оправдывает свое художественное назначение не хуже прозы. Не в этом дело. С самого начала повести взят свободный, непринужденный тон, все развивается естественно. И сам герой-рассказчик, и удивительно привлекательный деревенский парень Пронька, и кузнец Денис, и все, чем жила обыкновенная деревня Дубовка во время Великой Отечественной войны, — все подтверждает ранее выдвинутое положение: Валентину Махалову удается лишь то, что лежит в пределах его жизненного опыта, что прошло через его душу.

Вот почему так поэтичен деревенский мир в повести. Поэзия прорывается сквозь далеко не поэтические обстоятельства военного времени и тяжелой жизни подростков. И не потому только, что в детской душе есть всегда место радостному, прекрас-

ному, доброму, но и к тому, что все эти стремления смог открыть писатель, которому красота мира открылась в ее реальном значении, в тех подробностях и штрихах, которые и создают поэзию вне зависимости от жанра произведений, в которых она проявляется. Повторяем, **тут нет никакого открытия**. Но нас интересует эта закономерность **применительно к конкретному опыту Валентина Махалова**. И нам обидно, когда мы и в последней его книжке находим подчас умозрительное вместо эмоционального, суждения вместо образных картин, отвечающие общим требованиям поэтической технологии строки, лишённые образных признаков, синтаксис, оформляющий призывы абстрактного, отвлеченного характера. Думаешь, ну как это можно после того, как в повести «Высокая Грива» появился эпизод с бобрами, от начала до конца спаянный из слов-образов. Мы приводим его потому, что ничего лучшего, как нам представляется, Валентин Махалов пока не написал ни в стихах, ни в прозе:

«У самого края воды возле небольшой осинки стоял крупный бобр. Он стоял на задних лапах, упершись широким хвостом в землю, обхватив передними лапами дерево. Он работал. Голова его приткнулась к белой, сужающейся к середине, нижней части ствола и медленно покачивалась из стороны в сторону. Рядом с пилыщиком орудовал другой зверек. Головой и пе-

редними лапами он подталкивал к воде большой обрубок уже поваленного ствола. Делал он это с прилежанием завязатого грузчика, и, когда ему удалось столкнуть бревнышко в воду, он превратился в купальщика, который ловко плавает, держа за бревно...».

Очень плотное, во всех деталях выверенное изображение дано в этом эпизоде. Однако это не только пейзаж. Горячая детская любовь Проньки и героя-рассказчика к животным очень много проясняет нам в характерах и событиях повести: и в том, какими тружениками были деревенские мальчишки, и в том, почему таким прямым, честным и отважным вырос Пронька, разоблачивший бандита, почему не за страх, а за совесть слабосильные парнишки так много помогли фронту и тылу.

Дорога не пройдена. Как видим, творчество Валентина Махалова развивается трудно и сложно. Это говорится не в укор писателю. Вряд ли есть что-либо более трудное, чем овладение содержанием и формой искусства. И почему знать, может быть, именно такими путями будет найдено то, что удовлетворит и писателя, и нас вместе с ним. Писатель, как он сам говорит, враг тишины и спокойствия. И дальнейшие его поиски и находки на дороге к самому себе, то есть к тому, что он твердо определяет своим призванием, могут и должны быть многообещающими.

ЗАКОНЫ ЖАНАРА

Вольно или нет, но я с искренним уважением отношусь к литературным опытам Б-а. Видимо, это чувство возникает от самой искренности, с которой автор стремится выразить свое отношение к явлениям жизни — то самое, что обуревает, окружает его ежедневно, ежечасно как журналиста-практика. Я понимаю или мне кажется, что понимаю: Б-у тесновато в своих корреспонденциях, ему, естественно, хочется вторгнуться в мир более сложных человеческих отношений, увидеть и передать эти отношения изнутри. Этим было вызвано и появление его повести, и настоящей пьесы — они сюжетно очень схожи, хотя пьеса во многом сложнее.

Прошу извинить за прописи, но в любом жанре искусства должно обязательно что-то происходить, особенно это касается драматического рода. Что происходит в пьесе «Будни»? (и почему «Будни» — это нарочитое подчеркивание будничности происходящего или долженствующего происходить? Ведь явление искусства так или иначе должно быть посвящено взрыву радости, горести, бедам, победному шествию или падению души человеческой — драме характеров).

В пьесе 19 действующих лиц помимо массовок, в которых мыслится участие характеров, жителей общежития и т. д. Это, в первую очередь, директор шахты Сергеев, секретарь партбюро Червоненко, начальник участка Подгоров, второй секретарь ГК ВЛКСМ Зарубин, Маша Фролова — заворотделом ГК ВЛКСМ, Ярошенко — секретарь комитета ВЛКСМ, Васса — комендант общежития и, конечно, четыре

демобилизованных краснофлотца — Базарин, Свежехлебко, Сазонов и Родин, — вокруг которых, собственно, и разворачивается все действие, возникают все, по замыслу автора, драматические и даже вневильные коллизии.

Приехали парни на одну из шахт Кузбасса, как и многие тысячи других, зная наперед, что здесь «есть с кого делать жизнь». Для них уже определено место в общежитии и, конечно, любая по их желанию и способностям работа на шахте. Хлопочут вокруг этого и директор шахты, и парторг, секретари ГК ВЛКСМ. Все правильно. Проходит какое-то время, и все четверо, после соответствующей подготовки уже на шахте, а потом — молодые, сильные, сноровистые — становятся передовиками. Не обошлось здесь, как водится, и без традиционного «треугольника». Это горный мастер Байдерин, его жена Алла Сергеевна — учительница вечерней школы и новичок из приехавших демобилизованных Виктор Базарин, влюбившийся в Аллу Сергеевну.

Все как будто на месте, силы расставлены, интерьер организован, дело за разворачиванием действия, за выявлением характеров. А действия по существу как раз и нет.

Начнем хотя бы с первого акта. В тексте он занимает 35 страниц, а если представить все это на сцене, в действии с его паузами, переходами, займет никак не меньше часа, а то и больше. Значит, не меньше часа коллектив театра должен держать зрителя в непрерывном, напряженном ожидании: вот сейчас что-то дол-

жно главное случиться, сейчас что-то произойдет! А ведь ничего такого, что бы вызвало это напряженное ожидание, так и не происходит.

В общежитие приходят руководители шахты. Длинный разговор о том, как будут устроены прибывающие, потом о том, внедрять или нет новую технику. Директор, разумеется, против, а секретарь ГК ВЛКСМ — за. Руководители уходят, а следом сразу же прибывают и демобилизованные краснофлотцы. Завязывается очень необязательный «светский» разговор. Возвращаются руководители, и происходит их разговор с вновь прибывшими, из которого мы узнаем биографии двадцатитрехлетних парней, знакомимся с условиями ожидающей их работы и заработка и с некоторыми другими привилегиями. Здесь же, между делом, узнаем коменданта общежития Вассу и пожилого шатхера Пал Палыча, о их взаимной симпатии, если не больше. Так, Пал Палыч сообщает Вассе: «Днем (ты) металл, ночью — масло». Молодой шахтер Хасан знакомит заочно своих новых товарищей с учительницей вечерней школы Аллой Сергеевной: «Она красивая, все влюбится, когда в школу пойдете».

Это ведь всеобщий закон литературы, особенно драматической: слово обязательно должно выражать жест — внутренние интонационный и подчеркнутый каким-то специально угаданным внешним образом. Но вот я читаю рукопись «Будней», понимаю, о чем речь, а самой речи не слышу, движения, которое должно выражать слово, не вижу. И это, мне кажется, потому, что и сам автор не видит ясно сцены, по крайней мере, в большинстве случаев не видит.

Тут я должен извиниться за длинную цитату, но привожу ее как пример оголенности «философствования» горнорабочего Пал Палыча, проработавшего двадцать лет в шахте. Речь его обращена к ребятам, еще не нюхавшим шахты.

Хасан. Зачем людям охоту работать отбиваешь?

Пал Палыч. Они сами охотку отобьют, когда уголь на вкус попробуют. И вот что еще вам могу сказать. Зря вы на меня обижаетесь. Вот все говорят: мы для блага всех работаем. (Базарину). Ты думаешь я поверю, что ты, например, прежде всего о всех думал, когда ехал сюда уголь добывать? Шиш. Ты прежде всего о себе думал и сейчас о себе думаешь. Обо мне ты подумаешь тогда, когда тебе три рубля понадобится занять. А что до разговоров, то я тоже умею говорить. Начальника участка так заговорю, что он мне вместо прогула отгул поставит. И все эти разговоры о высоких чувствах в шахте совсем ни к чему. Убедитесь сами. А вот силенку из вас постараются выжать. Слыхал я, что Сергееву предлагали какую-то штуку, которая в забое без людей работать может. Ну и что? Глупый Сергеев, чтобы ее брать? Нет! Пойдет она или не пойдет, а человек всегда пойдет, попомните мои слова. Может, и меня уже не будет, а вы все с кувалдой и лопатой в забой ходить будете. Если раньше не сбегите.

Тут мне хотелось бы сделать два замечания. В заголовке поставлено: «время действия — наши дни». Значит, и этот уникальный Пал Палыч из наших дней. Работает на шахте и ничегошеньки не знает ни о механизированных забоях и целых шахтах, о комплексах? Но ведь бывают же и среди знающих завзятые крохоборы и дураки. Но ведь никак не нельзя поверить, что даже дурак, со всей своей мелкотравчатой «философией» так вот за здорово живешь принародно будет проповедовать свои благоглупости.

Правда, художественная литература не поваренная книга, где все расписано: сколько поперчить и как посолить, но чувство меры, соразмерности здесь категорически обязательны. Я вот не поверил в широковещательную программу Пал Палыча, и только потому же не поверил в его стремительную «перековку» в конце

пъесы... И еще о чувстве меры. Разговаривают приехавшие парни и девушки Света и Аня.

Света. Мне один говорил: как в шахту спускаться, так у него живот начинает болеть. Пришлось рассчитаться бедняге, пока совсем себя поносами не извел.

Свежехлеб (хохочет). Ай, молодец! Ну и остряки (!!).

Что это — юмор молодых людей, только что познакомившихся?

Действие второе, акт 2-й начинается, по мысли автора, в такой обстановке. «Сцена — пятачок шахтового двора перед входом в клетьевой ствол. Это место перекура перед спуском в шахту и после выхода нагору. Справа вход в клетьевого здания, через всю сцену, поперек, трубы на тумбах, слева видно здание подъема грузового ствола, прямо — сам ствол. Вдалеке — небольшие здания. Зеленые насаждения. Осень».

Тут как будто тоже все правильно, но что делать с таким громоздким интерьером художнику, куда он должен вместить два ствола, несколько зданий и зеленые насаждения (осенью!)? Тут автор опять не видит то, что пытается нарисовать, — не видит на сцене.

На этом пятачке несколько шахтеров, среди них Пал Палыч. Постепенно еще подходят шахтеры, курят, реагируют на разговор. Как реагируют: усмеваются, недоверчиво отмахиваются? Где жест?

Потом, не считая двух длинных баек Пал Палыча, в одной из которых опять «фигурирует» почему-то полюбившаяся автору «медвежья болезнь», тот же Пал Палыч вступает в разговор с появившимися «на пятачке» Свежехлебко, Базариным, Родиным, Хасаном и Сазоновым. Разговор в таком принципиальном тоне:

Пал Палыч. Бригада шабашников в полном сборе...

Свежехлебко. ...Что, дядя, тариф выкуриваешь?

Пал Палыч. Угу... Сядь со мной, покури.

Свежехлебко. Я с тобой и в другом любом месте не сяду. (!!).

Базарин. Почему вчера сопряжение на основном не подремонтровали? Мы из-за вас два часа потеряли.

Пал Палыч. Горный мастер мне другое задание дал...

Сазонов. То-то и его найти не могли.

Базарин. Сошлись два друга.

Пал Палыч. Как ты с его женой.

Свежехлебко. Был бы помоложе, в лоб можно было бы дать.

Бывают такие разговорчики среди современных молодых рабочих парней? Бывают и покрепче и, соответственно, изобретательнее. Но зачем же все это делать в пьесе или рассказе чуть ли не эталоном словотворчества, а, следовательно, и мышления. «Я с тобой и в другом любом месте не сяду». «В лоб можно было бы дать». «Он, оказывается, обмарал новую спецовку. Медвежья болезнь». Я отнюдь не специально подчеркиваю все эти перлы, но ведь от речи действующих лиц прямой путь к их духовному миру, к мирозерцанию, а все это обязательно организует мировоззрение, или социальное младенчество или социальную зрелость. Это же характеризует и такую, назовем, художественную неправду, как глубокое неуважение людей труда друг к другу, как личность к личности.

Только что закончилась перепалка Пал Палыча с молодыми шахтерами, как из дверей подъема вышли Сергеев, Подгоров, Зарубин, Червоненко и Люда Ярошенко. Руководители только что из шахты, устали и начинают разговор с молодежью с приветствия начальника участка Подгорова: «Вот они, мои мазурики!» Это, вопреки замыслу автора, далеко не смешно, а снова и прямо относится к тому же неуважению к человеческой личности. Мазурик ведь такое слово, которое несет строго определенную нагрузку, каким бы тоном ты его не произнес. Тут никакое «папашество» не поможет.

На пятачке с ходу состоялось, хотя и ле-

тучее, но, видимо, неотложное, обязательное производственное совещание. Руководством принято решение создать комсомольско-молодежную бригаду для скоростной проходки подготовительных выработок. Секретарь ГК ВЛКСМ (а не директор шахты, не начальник участка) спрашивает ребят: — Пойдете?

Базарин. Какой разговор? Конечно, пойдем. А механизация будет или все так же вручную?

Сергеев. Будет, будет.

Вот как будто и все, о чем нужно было в данном месте, в данное время и в данных обстоятельствах договориться. Так нет же! Разговор продолжается еще на семи страницах и должен занять не менее тридцати минут сценического времени. А что должен эти тридцать минут делать зритель — слушать просто разговор без всякого накала, без внутренних взрывов, вершин, интонационной значительности? Исключение могла бы составить концовка длинной беседы, когда упоминаются имена участников (да простится мне это слово) треугольника — горного мастера Бейдерина, его жены Аллы Сергеевны и Виктора

Базарина. Так как Базарин и Бейдерин работают в одной смене, то кто-то советует развести их в смены, а «то как бы чего не вышло». В остальном же высказывается пожелание, чтобы все остальное (!) «отрегулировала» секретарь комсомольской организации 22-летняя девушка Люда Ярошенко. И никому из всех премудрых советчиков даже и невдомек было, что Люда ведь сама далеко не безразлична к Виктору Базарину. Вот тут как будто намечалось что-то похожее на истинно человеческие (хотя и не новые) страсти, но ведь они никакого развития так и не получили, просто повисли в воздухе, где-то между общежитием и шахтными копрами.

Такова, на мой взгляд, правда о неправде этой драматической рукописи. Незнание жестких законов сцены, неумение проникнуть хотя бы в поверхностные слои человеческой психологии, нарочитое «под рабочих» опрожнение действующих лиц, все это и привело к тому, что пьеса «наших дней» — «Будни» не состоялась. Но может ли первая неудача обескуражить молодого автора, если само зерно творчества — в мужестве.

А. ВОЛОШИН

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА „ОГНИ КУЗБАССА“

за 1973 г.

Серьезный разговор (с собрания кузбасских литераторов). № 2.

НАШ СОВРЕМЕННИК

ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ. Лукьян Се-
лицкий, доменщик. № 3.

ПРОБЛЕМА?.. ДА, ПРОБЛЕМА!

П. ВОРОШИЛОВ. Карьера Войтовича.
№ 1. Зрелость. № 4.

СТИХИ

ВИКТОР БАЯНОВ. Поле (венки сонетов).
№ 2.

ЕВГЕНИЙ БУРАВЛЕВ. Мастерство, № 1.
О моих земляках-кузнецанах: Хлебороб.
Настя. Модельщик. «Какой бы мерою ни
мерить...». № 4.

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ. «Братские могилы...»,
«Я дождик и снег в две горсти...», «С раз-
битыми локтями и коленками...», «Спокон
веку, потирая шрамы...». № 4.

ИГОРЬ ҚИСЕЛЕВ. «Отзвенела пора ли-
стопада...», «Вот стихи о маленькой бе-
лой ромашке...», «Село на трех доро-
гах...», Ночью в лесу. № 1.

НИКОЛАЙ КОЛМОГОРОВ. «Хвойный вал
тишины...», «Районный город в липах
желтых...», Галья. № 3.

ГЕННАДИЙ КРАВЦОВ. «За окнами — по-
рывы ветра...». № 1.

ПАВЕЛ МАЙСКИЙ. «Снова жить бы на-
чать...», «Грибное лето на исходе...», «Го-
рит огнем рябина золотая...». № 2.

ВЛАДИМИР МАМАЕВ. «Ты ел когда-ни-
будь макуху...», Затишье, «Разбег... И
небо треснуло...». № 1.

СЕМЕН ПЕЧЕНИК. Петергоф. Сибирский
снег. № 1.

НИКОЛАЙ ПИСКАЕВ. Почтальон. Дер-
венский. № 4.

ВЛАДИМИР ПОТАШОВ. Земле, «Небо
вспыхнуло грозою...», «Исполнен ребячь-
его хмеля...», «Прощаюсь с августом...». № 3.

АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ. «Рублю из-
бу...», Ручей Таян, «Я наблюдал за ней
подробно...». № 3.

ОЛЕГ ФИЛОСОВ. Речка Яя. «Я знал
ведь, что проявится вода...». № 3.

РАИСА ЧИГРАКОВА. Весеннее настро-
ение. № 1.

ИЗ ШОРСКОГО ФОЛЬКЛОРА

«Разум — тот же океан безбрежный...»,
«Дорог соболь...», «Незнающий тысячу
слов говорит...». Перевод Геннадия Сы-
солятина.

ПРОЗА

КОНСТАНТИН АНДРЕЕВ. Авария. Рас-
сказ. № 4.

АЛЕКСАНДР БАРЫШЕВ. В гостях у
Спартак Мишулина. Фото Ю. Заброд-
на. № 3.

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ. Полет на сброс
разрешен. Рассказ. № 2.

ЕКАТЕРИНА ДУБРО. Чем пахнет весна.
Рассказ. № 1.

РУДОЛЬФ ЛИХОМАНОВ. Светлая роща.
Весенняя рапсодия. Кукушка. № 4.

ВЛАДИМИР МАЗАЕВ. Черемуховые холода. Рассказ. № 4.

ГАРИИ НЕМЧЕНКО. Озябший мальчик.
Рассказ. № 2.

СТЕПАН РЫБАК. Желтые листья берез.
Ветки тополя. Рассказы. № 1.

СВЕТЛАНА ТКАЧ. Сложение и вычитание. Рассказ. № 3.

ЗИНАИДА ЧИГАРЕВА. Такие девочки.
Рассказ. № 3.

ВАШИМ ДЕТЯМ

АЛЕКСАНДР БЕРЕСНЕВ. Жаворонок.
Быть погожим дням. Подарок. Стихи.
№ 1.

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА. Как человек разбудил солнце. Сказка. № 1.

ВАЛЕНТИНА ТОМИЛИНА. Муравей.
Ежишка. Стрекоза. Прятки. Стихи.
№ 1.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ. Держись, Кия!
№ 2.

Ю. КИСЕЛЕВ. Земля. № 3.

В. ТРАВИНСКИЙ. Земной пейзаж. № 3.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ...

БОРИС ГОЛОВИН. В стране священного кедра. № 2.

Э. САВИЦКИЙ. Поморы звали его Грумантом. № 4.

ВИКТОР ЧУГУНОВ. Томительный воздух скитаний. № 3.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МИХАИЛ СОРОКИН. Путешествие в легенду. № 4.

ВРЕМЯ — ЧЕЛОВЕК — ВРЕМЯ

ВИКТОР ДРОЗДОВ. К. М. Станюкович в сибирской ссылке. № 3.

ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ... РАССКАЗАЛ...

М. КУШНИКОВА. Рыжехвост. № 4.

МАВРИКИЙ РЕЗНИК. Неудавшаяся охота. № 2. Пари. № 4.

ГЕННАДИЙ ЮРОВ. Вершина Томи. № 1.

ОТКУДА ПОШЛО СЛОВО

ИЛЬЯ ПОЛОВИНКИН. Юрга. № 3.

СЛОВО — КРИТИКЕ

АЛЕКСЕИ АБРАМОВИЧ. Дорога к самому себе. № 4.

ЮРИЙ ИЗЮМСКИЙ. По точному адресу. № 3.

ИННА ТИМОШЕНКО. Если судить по большому счету. № 1. О времени и о себе. Заметки на полях трех повестей. № 2. Читатель — автору. № 3.

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

А. ВОЛОШИН. Законы жанра. № 4.

Г. Е. Твое открытие мира. № 1.

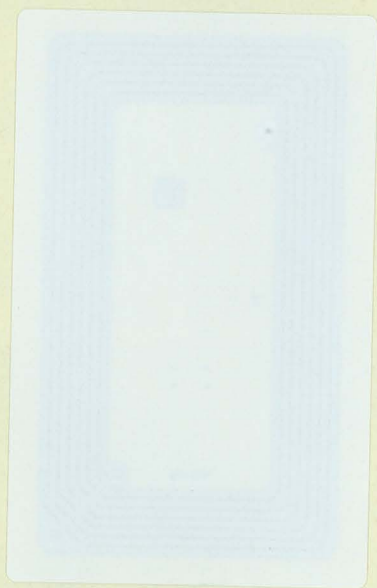
ИГОРЬ РИНК. Бой, который не состоялся. № 2.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

А. ГАЛЛИНГЕР. Вторая жена. № 1.

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ. Верность традиции. У голубого экрана. Мимо цели. Разлад на профессиональной основе. Грезы сатирика. Сатирические миниатюры. № 3.

М. СФАНДРЛИК. Третья жена. № 1.



33 коп.